



# НОЧЬ НЕЖНА

pocketbook

Фрэнсис Скотт  
ФИЦДЖЕРАЛЬД



Фрэнсис Фицджеральд

**Ночь нежна**

«ЭКСМО»

1934

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)-44

**Фицджеральд Ф. С.**

Ночь нежна / Ф. С. Фицджеральд — «Эксмо», 1934

ISBN 978-5-04-100577-1

«Ночь нежна» – удивительно тонкий и глубоко психологичный роман американского классика, который многие критики ставят даже выше «Великого Гэтсби», а сам автор называл «самым любимым своим произведением». И это неслучайно: книга получилась во многом автобиографичной, Фицджеральд описал в ней оборотную сторону своей внешне роскошной жизни с женой Зельдой. Вожделенная американская мечта, обернувшаяся подлинной трагедией. В историю моральной деградации талантливого врача-психиатра он вложил те боль и страдания, которые сам пережил в борьбе с шизофренией супруги... Но эта книга не о болезни или смерти – она о любви.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-100577-1

© Фицджеральд Ф. С., 1934

© Эксмо, 1934

## Содержание

Часть первая	6
I	6
II	10
III	13
IV	16
V	20
VI	22
VII	27
VIII	31
IX	33
X	36
XI	39
XII	42
XIII	46
XIV	49
XV	51
XVI	54
XVII	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Фрэнсис Скотт Фицджеральд

## Ночь нежна

*ДЖЕРАЛЬДУ и САРЕ*

*Mногих fêtes<sup>1</sup>*

*И вот уже мы рядом. Ночь нежна...*

*...А здесь твоя страна*

*И тот лишь свет, что в силах просочиться*

*Сквозь ставни леса и засовы сна.*

*Джон Китс. Ода соловью<sup>2</sup>*

© Ильин С., перевод на русский язык, наследники, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

## Часть первая

### I

На приятнейшем берегу Французской Ривьеры, примерно посередине пути от Марселя до итальянской границы, стоит большой, горделивый, розоватых тонов отель. Почтительные пальмы силятся остудить его румяный фасад, короткая полоска слепящего пляжа лежит перед ним. В последние годы он обратился в летнее прибежище людей известных и фешенебельных; но десять лет назад почти совершенно пустел после того, как в апреле его английская клиентура отбывала на север. Ныне вокруг него в изобилии теснятся летние домики, однако в пору, на которую приходится начало нашего рассказа, крыши всего лишь дюжины старых вилл дотлевали, точно кувшинки в пруду, посреди густого соснового леса, что тянулся от этого принадлежавшего семейству Госс «*Hôtel des Étrangers*»<sup>3</sup> до отделенных от него пятью милями Канн.

Отель и рыжеватый молеальный коврик его пляжа составляли единое целое. Ранними утрами в воде отражались далекие Канны, их розовые и кремовые старинные укрепления, лиловатые, ограждающие Италию Альпы, все они подрагивали на морской глади, колеблемые зыбью и кругами, которые расходились от достававших до нее усиков водорослей, покрывавших чистые отмели. Незадолго до восьми на пляж спускался мужчина в синем купальном халате; приготовляясь к купанию, он долго оплескивал себя холодной водой, громко пыхтел и крикал, а затем с минуту барахтался в море. После его ухода на пляже царил в течение часа покой. Вдоль горизонта ползли уходившие на запад торговые суда; во дворе отеля перекликались судомойки; на соснах подсыхала роса. А по прошествии этого часа на извилистой дороге, что тянется вдоль именуемой Маврскими горами гряды невысоких холмов, отделяющих побережье от собственно Прованса, начинали гудеть клаксоны автомобилей.

В миле от моря, там, где сосны сменяются запыленными тополями, одиноко стояла железнодорожная станция, – от нее июньским утром 1925 года а открытая двухместная машина повезла к отелю Госса двух женщин, мать и дочь. Лицо матери, еще сохранявшее следы молодости, коим предстояло в скором времени скрыться под сеткой полопавшихся сосудов, выражало спокойствие и приятную уверенность в себе. Однако взгляд каждого, кто их видел, мгновенно обращался к дочери, в чьих розовых ладонях, в щеках, словно подсвеченных восхитительным внутренним пламенем, красневших, как у ребенка после холодной вечерней ванны, присутствовала несомненная магия. Ее изящное чело отлого поднималось туда, где взметались волнами, завитками и ниспадавшими на него прядями пепельно-светлые и золотистые волосы, окаймлявшие лоб, как намет окаймляет геральдический щит. Большие, яркие, чистые, влажно сияющие глаза; щеки, озаренные натуральным румянцем, – это светилась под кожей кровь, которую разгонял по ее жилам мощный мотор молодого сердца. Тело девушки нежно медлило на самом краешке детства – ей было почти восемнадцать, утро ее жизни подходило к концу, но роса еще покрывала ее.

Когда внизу под ними показалась жаркая граница неба и моря, мать сказала:

– Чует мое сердце, не понравится мне здесь.

– А мне и так уж домой хочется, – ответила девушка.

Говорили они весело, но явно не знали, в какую сторону им податься, и незнание это уже наскучило обеим – к тому же двигаться абь куда, этого им было мало. Обе жаждали вос-

---

<sup>3</sup> Отель для иностранцев (фр.).

торженного волнения, и жажда эта порождалась не столько необходимостью подстегнуть утомленные нервы, сколько ненасытностью заслуживших каникулы первых в школе учеников.

– Поживем там три дня – и домой. Я первым делом закажу по телеграфу каюту на пароходе.

С гостиничным портье разговаривала, снимая для них номер, девушка, – французская речь ее была пересыпана присловьями, но несколько заторможена, как будто девушке приходилось их припоминать. Номер они получили на первом этаже, и, распаковав вещи, она выступила сквозь французское окно под слепящий свет дня и немного прошла по тянувшейся вдоль всего отеля каменной террасе. Походка у нее была балетная, торс не оседал при каждом шаге на бедра, но словно тянулся вверх, отталкиваясь от распрямленной поясницы. Здесь, на террасе, Розмари облило горячее сияние, бросившее ей под ноги четкую, усеченную тень, и девушка отступила назад – свет слишком резал глаза. В пятидесяти ярдах от нее жестокий блеск солнца отнимал у Средиземного моря одну краску за другой; под балюстрадой допекался на подъездной дорожке отеля полинявший «бьюик».

Вокруг было пусто, какое-то оживление замечалось только на пляже. Троица британских нянюшек вязала, украшая носки и свитера узорами викторианской Англии, узорами сороковых, шестидесятых, восьмидесятых годов, и сопровождая это занятие аккомпанементом следующих, словно магические заклинания, строгим правилам сплетен; ближе к воде обосновалось под полосатыми зонтами человек десять, а дети их гонялись по отмелям за безбоязненной рыбой или лежали нагишом, поблескивая под солнцем умащенной кокосовым маслом кожей.

Когда Розмари вышла на пляж, мимо нее пронесся и с восторженным воплем ворвался в море мальчик лет двенадцати. Чувствуя, как ее кожу покалывает от изучающих взглядов незнакомых людей, она сбросила купальный халат и последовала примеру мальчика. Проплыв лицом вниз несколько ярдов, она оказалась на отмели, и встала, покачиваясь, и побрела вперед, подволакивая стройные ноги, словно отяжелевшие от сопротивления воды. Зайдя в нее почти по грудь, Розмари оглянулась на пляж: лысый, одетый в купальное трико мужчина с моноклем в глазу, пучками длинных волос на груди и нагло лезущим в глаза глубоким пупком не сводил с нее изучающего взгляда. Розмари перехватила его, и мужчина выронил из глазницы монокль, вмиг затерявшийся среди украшавших его грудь замысловатых усов, и налил себе стаканчик чего-то из бутылки, которую держал в руке.

Розмари снова легла ничком на воду и отрывистым кролем поплыла к плоту для купальщиков. Вода и выталкивала ее, и нежно тянула вниз, подальше от зноя, обтекая волосы, забегая в укромные уголки тела. Розмари кружилась в ней и кружилась, переворачиваясь с боку на бок, обнимая ее, нежась в ней. До плота она добралась запыхавшейся, и там загорелая женщина с белейшими зубами окинула ее взглядом, и Розмари, устыдившись вдруг белизны своего тела, повернулась на спину и неторопливо направилась к берегу. Когда она вышла из воды, волосатый мужчина с бутылкой в руке заговорил с ней.

– А знаете – там за плотом акулы водятся, – национальности он был неопределенной, но по-английски говорил с неторопливой оксфордской протяжностью. – Вчера они сожрали двух английских моряков стоящего в Гольф-Жуане *flotte*<sup>4</sup>.

– Боже мой! – воскликнула Розмари.

– Они всегда за *flotte* ходят, питаются отбросами.

И остеклянив глаза, дабы показать, что заговорил он с ней лишь из желания предупредить ее, мужчина отступил на два семенящих шага и налил в стаканчик новую порцию выпивки.

Не без приятности смущенная, поскольку во время этого разговора внимание всех, кто сидел на пляже, вновь обратилось к ней, Розмари огляделась в поисках места, где она могла бы присесть. Понятно было, что каждое семейство безраздельно владело полоской песка, лежав-

---

<sup>4</sup> Флот, соединение военных кораблей (*фр.*).

шей непосредственно перед его зонтом; кроме того, люди то и дело переходили от зонта к зонту, переговаривались со знакомыми, и отходили, – словом, пляжем правил дух общности и попытка присоединиться к ней отдавала бы бесцеремонностью. Несколько дальше, где песок был усеян галькой и пучками сухих водорослей, расположилась компания с такой же белой, как у Розмари, кожей. Члены ее лежали не под пляжными зонтами, а под ручными парасолями, вообще ясно было, что они – не из здешних аборигенов. В конце концов Розмари выбрала себе место в пространстве, разделявшем людей смуглых и белокожих, и расстелила на песке свой халат.

Лежа на нем, она сначала слышала голоса, потом чьи-то шаги огибали ее, чьи-то тела заслоняли от солнца. Один раз шею Розмари овеяло теплое, запышливое дыхание любопытного пса; она чувствовала, как ее кожа понемногу пропекается солнцем, и вслушивалась в тихое, усталое «фа-фаа» испускавших дух волн. Потом ее ухо стало различать отдельные голоса, и она услышала, как кто-то с презрением рассказывает об «этом Норте», прошлой ночью похитившем из кафе в Каннах гарсона, чтобы распилить его надвое. Рассказ был обращен к беловолосой женщине в вечернем платье, очевидном реликте вчерашнего вечера, ибо на голове женщины еще сидела диадема, а на плече угасала разочаровавшаяся в жизни орхидея. Розмари, ощутив неясную неприязнь и к женщине, и к ее компании, отвернулась.

По другую от этой компании сторону ближе всех к Розмари лежала под шалашиком из зонтов и составляла некий список, выписывая что-то из раскрытой на песке книги, молодая женщина. Бретельки ее купального костюма были стянуты с плеч, спускавшаяся от нитки матовых жемчужин спина, где красноватая, где оранжево-коричневая, светилась под солнцем. Лицо женщины было и жестким, и миловидным, и несчастливым. Она взглянула Розмари в глаза, но не увидела ее. За нею лежал на песке крупный мужчина в жокейской шапочке и трико в красную полоску; за ним женщина с плота, *эта* ответила на взгляд Розмари и, несомненно, ее увидела; далее следовал мужчина с длинным лицом и золотистой львиной гривой – голубое трико, непокрытая голова, – он очень серьезно беседовал с молодым человеком в черном купальном костюме, явным латиноамериканцем, разговаривая, оба выкапывали из песка комочки водорослей. Люди эти, подумала Розмари, по большей части приехали сюда из Америки, но что-то отличает их от американцев, с какими она знакомилась в последние месяцы.

Некоторое время спустя она обнаружила, что мужчина в жокейской шапочке угощает свою компанию маленьким, тихим представлением – важно разгуливает с граблями по песку, якобы выковыривая из него гальку, и между тем разыгрывает некую понятную лишь посвященным пародию, удерживая ее невозмутимым выражением лица в зачаточном состоянии. Понемногу он добавлял к ней все более уморительные маленькие подробности, и наконец что-то сказанное им вызвало взрыв хохота. Даже те, кто, подобно Розмари, находился слишком далеко от него, чтобы расслышать хоть слово, наставляли на мужчину антенны внимания, и вскоре молодая женщина в жемчугах осталась единственным на пляже не увлеченным представлением человеком. Возможно, это сдержанность собственницы заставляла ее при каждом залпе смеха еще ниже склоняться над своим списком.

Внезапно прямо над Розмари прозвучал, словно бы с неба, голос обладателя монокля и бутылки:

– Вы потрясающе плаваете.

Она запротестовала.

– Отлично плаваете. Меня зовут Кэмпбелл. Тут одна леди говорит, что видела вас на прошлой неделе в Сорренто, знает, кто вы, и очень хотела бы познакомиться с вами.

Розмари, затаив раздражение, оглянулась и увидела обращенные к ней полные ожидания взгляды людей из незагорелой компании. Неохотно встав, она направилась к ним.

– Миссис Абрамс... миссис Мак-Киско... мистер Мак-Киско... мистер Дамфри...

– Мы знаем, кто вы, – громко сообщила дама в вечернем платье. – Вы Розмари Хойт, я сразу узнала вас в Сорренто и потом еще у портье спросила, и мы думаем, что вы совершенно дивная, и нам интересно, почему вы не вернулись в Америку, чтобы сняться еще в одном дивном фильме.

Они с преувеличенной предупредительностью раздвинулись, освободив для нее место. Несмотря на ее фамилию, дама, узнавая Розмари, еврейкой не была. А была она одной из тех пожилых «своих в доску» женщин, которым хорошее пищеварение и невосприимчивость к любым печальным переживаниям позволяют с легкостью осваиваться среди людей нового поколения.

– А еще мы хотели предупредить вас, что в первый день здесь ничего не стоит обгореть, – весело продолжала она, – тем более *ваша* кожа дорогого стоит, но на этом пляже столько дурацких условностей, что мы побоялись к вам подойти.

## II

– Мы думали – а вдруг вы тоже в заговоре состоите, – сказала миссис Мак-Киско, напористая, хорошенькая молодая женщина с тусклыми глазками. – Мы же не знаем, кто в нем участвует, а кто нет. Мой муж очень мило поговорил с одним мужчиной, а после выяснилось, что он там из верховодов, не самый главный, но почти.

– Заговор? – переспросила Розмари, не понявшая и половины услышанного. – А что, здесь существует какой-то заговор?

– Дорогая моя, *мы не знаем*, – с судорожным смешком дородной женщины ответила миссис Абрамс. – Мы-то в нем не участвуем. Мы – зрители, галерка.

– Миссис Абрамс – сама по себе заговор, – заметил мистер Дамфри, белобрысый, несколько женственный молодой человек.

Услышав это, мистер Кэмпиион погрозил ему моноклеом и сказал:

– Не будьте таким гадким, Ройал.

Розмари ощущала неудобство, глядя на них, и жалела, что с ней нет матери. Люди эти не нравились ей, особенно по сравнению с теми, кто заинтересовал ее на другом конце пляжа. Непритязательная, но непреклонная светскость матери неизменно помогала им обоим быстро и решительно выходить из нежелательных ситуаций. Розмари же приобрела известность всего полгода назад, и по временам французская чопорность ее ранней юности и демократические повадки Америки как-то перемешивались в ней, сбивая ее с толку, отчего она попадала вот в такие истории.

Мистера Мак-Киско, тощего, рыжего, веснушчатого мужчину лет тридцати, болтовня о «заговоре» нисколько не забавляла. Весь этот разговор он смотрел в море, а теперь, метнув быстрый взгляд в сторону жены, повернулся к Розмари и требовательно осведомился:

– Давно здесь?

– Первый день.

– О.

Решив, по-видимому, что вопрос его полностью переменял тему общего разговора, он поочередно оглядел всех остальных.

– На все лето приехали? – невинно осведомилась миссис Мак-Киско. – Если так, вы сможете увидеть, как развивается заговор.

– Бога ради, Виолетта, найди другую тему! – взорвался ее супруг. – Придумай, бога ради, какую-нибудь новую шуточку!

Миссис Мак-Киско качнулась в сторону миссис Абрамс и громко выдохнула:

– Нервничает.

– Я не нервничаю, – отрезал Мак-Киско. – Не нервничаю, и все тут.

Он рассвирепел, это было видно невооруженным глазом, – буроватая краска разлилась по лицу бедняги, потопив все его выражения в одном: совершеннейшего бессилия. Вдруг осознав, хоть и смутно, свое состояние, он встал и направился к воде. Жена последовала за ним, Розмари, ухватившись за представившуюся возможность, – за нею.

Мистер Мак-Киско набрал полную грудь воздуха, повалился в мелкую воду и принялся колошматить Средиземное море негнущимися руками, что, несомненно, подразумевало плавание стилем кроль, – впрочем, запасы воздуха в его легких вскоре закончились, и он встал в воде, оглянулся и, судя по его лицу, удивился, что берег еще не скрылся из глаз.

– Никак не научусь дышать. Никогда и не понимал толком, как люди дышат в воде.

Он вопросительно взглянул на Розмари.

– Насколько я знаю, выдыхают воздух в воду, – объяснила она, – а на каждом четвертом гребке поворачивают голову и вдыхают.

– Для меня дыхание – самое сложное. Ну что – плывем к плоту?

На раскачиваемом волнами плоту лежал, растянувшись во весь рост, мужчина с львиной гривой. Когда миссис Мак-Киско, доплыв до плота, протянула к нему руку, край его, качнувшись, сильно ударил ее по плечу, и мужчина встрепнулся и вытянул ее из воды.

– Я испугался, что плот оглушил вас.

Говорил он медленно и смущенно, а лицо его – с высокими скулами индейца, длинной верхней губой, глубоко посаженными, отливавшими темным золотом глазами, – было таким печальным, каких Розмари и не видела никогда. И говорил он уголком рта, словно надеясь, что слова его станут добираться до миссис Мак-Киско неприметным кружным путем. Минуту спустя он перекатился в воду, оттолкнулся от плота, и какое-то время его длинное тело просто лежало на ней, сносимое волнами к берегу.

Розмари и миссис Мак-Киско не сводили с него глаз. Когда инерция толчка исчерпалась, он резко сложился пополам, худые ноги его взвились в воздух, а затем он весь ушел под воду, оставив на ней лишь малое пятнышко пены.

– Хороший пловец, – сказала Розмари.

В ответе миссис Мак-Киско прозвучала удивившая Розмари злоба:

– Хороший пловец, но плохой музыкант, – миссис Мак-Киско повернулась к мужу, который все же сумел после двух неудачных попыток выбраться из воды и, обретя равновесие, попытался принять эффектную позу, которая искупила бы его неудачи, но добился только того, что сильнее раскачал плот. – Я только что сказала про Эйба Норта: хороший человек, но плохой музыкант.

– Да, – неохотно согласился Мак-Киско. Ясно было, что он собственными руками создал мир, в котором обитала его жена, а потом разрешил ей позволять себе в нем кое-какие вольности.

– Мне подавай Антейла<sup>5</sup>, – миссис Мак-Киско с вызовом взглянула на Розмари. – Антейла и Джойса. Не думаю, что вам случалось часто слышать в Голливуде о людях такого рода, а вот мой муж написал первую в Америке критическую статью об «Улиссе».

– Сигарету бы сейчас, – негромко сказал Мак-Киско. – Ни о чем другом и думать не могу.

– Вот кто понимает человека до тонкостей – ведь правда, Альберт?

Она внезапно примолкла. Женщина с жемчужными бусами присоединилась в воде к двум своим детям, а Эйб Норт, поднырнув под одного из них, поднялся с ним на плечах из воды, как вулканический остров. Ребенок вопил от страха и наслаждения, а женщина смотрела на них, и лицо ее было прелестно спокойным, но лишенным улыбки.

– Это его жена? – спросила Розмари.

– Нет, это миссис Дайвер. Они не в отеле живут.

Глаза миссис Мак-Киско не отрывались от лица женщины, словно фотографируя все. И спустя мгновение она порывисто повернулась к Розмари.

– Вы раньше бывали за границей?

– Да – училась в парижской школе.

– О! тогда вам, наверное, известно, что если человек хочет получить удовольствие от этой страны, он должен познакомиться с несколькими настоящими французскими семьями. А эти с чем отсюда уедут? – она повела левым плечом в сторону берега. – Цепляются за свою глупую маленькую клику. Мы-то, разумеется, приехали с массой рекомендательных писем и перезнакомились в Париже с самыми лучшими французскими художниками и писателями. Очень было приятно.

– Не сомневаюсь.

– Муж, видите ли, заканчивает свой первый роман.

---

<sup>5</sup> Джордж Антейл (1900–1959) – американский пианист и композитор-авангардист.

– Вот как? – произнесла Розмари. Никаких особых мыслей в голове ее не было, она лишь гадала – удалось ли матери заснуть в такую жару.

– Идею он позаимствовал из «Улисса», – продолжала миссис Мак-Киско, – только там все происходит за двадцать четыре часа, а у мужа за сто лет. Он берет старого, пришедшего в упадок французского аристократа и противопоставляет его веку машин...

– Ой, Виолетта, ради бога, не пересказывай ты идею романа каждому встречному, – возмутился Мак-Киско. – Я не хочу, чтобы о ней стали болтать на всех углах до того, как выйдет книга.

Розмари возвратилась на берег, накинула халат на уже немного саднившие плечи и снова прилегла, чтобы погреться на солнышке. Мужчина в жокейской шапочке переходил теперь с бутылкой и несколькими стаканчиками от зонта к зонту; вскоре он и его друзья оживились и, сдвинув зонты, расположились под ними, – как поняла Розмари, кто-то из их компании уезжал, и они в последний раз выпивали с ним на берегу. Дети и те сообразили, что под зонтами идет веселье, и повернулись к ним, – Розмари казалось, что источником его снова стал мужчина в жокейской шапочке.

Полдень царил в небе и в море – даже белая линия стоявших в пяти милях отсюда Канн выцвела, обратившись в мираж прохлады и свежести; красный парусник тянул за собой прядку открытого, более темного моря. Казалось, что на всем береговом просторе жизнь теплится только здесь, в отфильтрованном зонтами солнечном свете, только под ними, среди красочных полос и негромких разговоров, и происходит что-то.

Кэмпиион направился к Розмари, но остановился, не дойдя нескольких футов, и она закрыла, притворяясь спящей, глаза, потом приоткрыла немного, взглядела в смутные, расплывчатые колонны, коими были его ноги. Он попытался протиснуться в песочного цвета облако, но облако уплыло в огромное жаркое небо. Розмари заснула по-настоящему.

Проснувшись она вся в поту и увидела, что пляж опустел, остался только складывавший последний зонт мужчина в жокейской шапочке. Розмари лежала, помаргивая, и вдруг он, подойдя к ней, сказал:

– Я собирался разбудить вас перед уходом. Слишком обгорать с первого раза – мысль не из лучших.

– Спасибо, – ответила Розмари и посмотрела на свои побагровевшие ноги. – Боже мой!

Она весело засмеялась, приглашая его к разговору, однако Дик Дайвер уже понес тент и сложенный пляжный зонт к ожидавшей его машине, и Розмари вошла, чтобы смыть пот, в воду. Дик вернулся, собрал грабли, лопату, сито и укрыл их в расщелине скалы. Потом окинул пляж взглядом, проверяя, не оставил ли чего.

– Не знаете, сколько сейчас времени? – спросила Розмари.

– Около половины второго.

Оба повернулись к морю.

– Время неплохое, – сказал Дик Дайвер. – Не худшее время дня.

Он посмотрел на нее, и на миг вся она с нетерпеливой готовностью ушла в ярко-синюю вселенную его глаз. Но тут он поднял на плечо последнюю порцию пляжного сора и пошел к машине, а Розмари, выйдя из воды, стряхнула с халата песок и направилась в отель.

### III

В зал ресторана они вошли за несколько минут до двух. Над пустыми столами простирался узор тяжелых потолочных балок, по стенам покачивались, следуя движениям сосен за окнами, тени. Двое собиравших грязные тарелки гарсонов громко болтали на итальянском, но с появлением двух женщин умолкли и принесли им уже успевший приостыть дежурный ленч.

– А я на пляже влюбилась, – сказала матери Розмари.

– В кого?

– Сначала в целую компанию очень милых людей. Потом в одного из мужчин.

– Ты разговаривала с ним?

– Совсем немного. Он такой красивый. Рыжеватый. – Розмари алчно набросилась на еду. – Правда, женат – обычная история.

Мать была ее ближайшей подругой и не упускала ни единой возможности дать дочери хороший совет – дело в театральной профессии не такое уж и редкое, однако миссис Элси Спирс отличалась от других матерей тем, что не пыталась отыгаться на дочери за собственные неудачи. Жизнь не наделила ее ни горечью, ни сожалениями, – она дважды удачно вышла замуж и дважды вдовела, и с каждым разом веселый стоицизм ее только креп. Первый ее муж был кавалерийским офицером, второй военным врачом, от обоих остались кое-какие деньги, которые ей хотелось передать Розмари в целости и сохранности. Своей требовательностью к дочери она закалила характер Розмари, требовательностью к себе – во всем, что касалось работы и верности ей, – внушила дочери приверженность идеалам, которые определяли теперь ее самооценку, – на прочий же мир девушка смотрела глазами матери. «Сложным» ребенком Розмари никогда не была, а ныне ее защищали словно бы два доспеха сразу, материнский и свой собственный, – она питала присущее зрелому человеку недоверие ко всему, что банально, поверхностно, пошло. Впрочем, после неожиданного успеха Розмари в кино миссис Спирс начала думать, что пора уже отнять – в духовном смысле – дочь от груди; она скорее обрадовалась бы, чем огорчилась, если бы эти несговорчивые, мешающие привольно дышать, чрезмерно строгие представления об идеальном Розмари применила к чему-то еще, не только к самой себе.

– Так тебе здесь нравится? – спросила она.

– Неплохо было бы познакомиться с этой компанией. Тут есть и другая, но в ней приятного мало. Они узнали меня – похоже, нет на свете людей, которые не видели бы «Папенькину дочку».

Подождав, когда угаснет эта вспышка самолюбования, миссис Спирс прозаично спросила:

– А кстати, когда ты собираешься повидаться с Эрлом Брейди?

– Думаю, мы можем съездить к нему сегодня под вечер, – если ты уже отдохнула.

– Ты можешь – я не поеду.

– Ну, тогда отложим на завтра.

– Я хочу, чтобы ты поехала одна. Это недалеко – а говорить по-французски ты, по-моему, умеешь.

– Мам, а существует что-нибудь, чего я делать не должна?

– Ну ладно, поезжай попозже, но сделать это до того, как мы отсюда снимемся, необходимо.

– Хорошо, мам.

После ленча их одолела внезапная скука, нередко нападающая на американцев, заезжающих в тихие уголки Европы. Ничто их никуда не подталкивает, ничьи голоса не окликают,

никто не делится с ними неожиданными обрывками их собственных мыслей, и им, оставившим позади шум и гам своей родины, начинает казаться, что жизнь вокруг них остановилась.

– Давай пробудем здесь только три дня, мам, – сказала Розмари, когда они возвратились в свой номер. Снаружи легкий ветерок размешивал зной, процеживая его через кроны деревьев, попыхивая жаром сквозь жалюзи.

– А как же мужчина, в которого ты влюбилась на пляже?

– Мамочка, милая, я только тебя люблю, никого больше.

Розмари вышла в вестибюль, чтобы расспросить Госса-*père*<sup>6</sup> о поездках. Портье, облаченный в светло-коричневый военный мундир, поначалу взирал на нее из-за стойки сурово, но затем все же вспомнил о приличествующих его *métier*<sup>7</sup> манерах. Она села в автобус и в обществе все той же пары раболовных гарсонов поехала на станцию; их почтительное безмолвие стесняло Розмари, ей хотелось попросить: «Ну что же вы, разговаривайте, смейтесь, мне вы не мешаете».

В вагоне первого класса стояла духота; яркие рекламные картинки железнодорожных компаний, изображавшие арльский Пон-дю-Гар, оранжский Амфитеатр, лыжников в Шамони, выглядели более свежими, чем простор неподвижного моря за окном. В отличие от американских поездов, увлеченных своей кипучей участью и с пренебрежением взирающих на людей из внешнего, не такого стремительного и запыхавшегося мира, *этот* был частью страны, по которой он шел. Его дыхание взметало осевшую на пальмовых листьях пыль, его угольная крошка смешивалась в садиках с сухим навозом. Розмари не сомневалась, что могла бы высунуться в окно и рвать руками цветы.

У каннского вокзала спали в своих машинах таксисты. Казино, модные магазины и огромные гостиницы променада смотрели на летнее море пустыми железными масками окон<sup>8</sup>. Невозможно было поверить, что когда-то здесь буйствовал «сезон», и Розмари, не вполне равнодушной к поветриям моды, было немного неловко, – как если бы ее поймали на нездоровом интересе к чему-то отжившему; как если бы люди вокруг недоумевали, что она делает здесь в промежутке между весельем прошлой зимы и весельем следующей, в то время как на севере сейчас гремит и сверкает настоящая жизнь.

Стоило ей выйти из аптеки с купленным там пузырьком кокосового масла, как мимо нее прошла и села в стоявшую неподалеку машину несшая охапку диванных подушек женщина, в которой Розмари узнала миссис Дайвер. Длинная, низенькая черная собака залаяла, увидев ее, задремавший шофер вздрогнул и проснулся. Она сидела в машине – прелестное и неподвижное, послушное воле хозяйки лицо, безбоязненный и настороженный взгляд – и смотрела прямо перед собой и ни на что в частности. Платье ее было ярко-красным, загорелые ноги – голыми. Волосы – густыми, темными, золотистыми, как у чау-чау.

До поезда оставалось полчаса, и Розмари посидела немного в «*Café des Alliées*»<sup>9</sup> на Круазетт, чьи деревья купали столики в зеленых сумерках, и оркестр услаждал воображаемую толпу космополитов сначала песенкой «Карнавал в Ницце», а после модным в прошлом году американским мотивчиком. Розмари купила для матери «Ле Темпс» и «Сетеди Ивнинг Пост» и, попивая «цитронад», открыла последний на воспоминаниях русской княгини – туманные обыкновения девяностых годов показались ей более реальными и близкими, чем заголовки французской газеты. То же гнетущее чувство преследовало ее и в отеле – Розмари, привыкшей видеть нелепости континента в подчеркнуто комическом или трагическом свете, не умев-

---

<sup>6</sup> Отец (*фр.*).

<sup>7</sup> Ремесло, профессия (*фр.*).

<sup>8</sup> В километре от Канн находится остров Сент-Маргерит, на нем стоит Форт-Рояль, тюрьма, в которой содержался таинственный человек в железной маске.

<sup>9</sup> Кафе «Союзники» (*фр.*).

шей самостоятельно выделять существенное, начинало казаться, что жизнь во Франции пуста и затхла. И исполняемые оркестром печальные мелодии, напоминавшие меланхолическую музыку, под которую кувыркаются в варьете акробаты, лишь усиливали это чувство. Она была рада вернуться в отель Госса.

Наутро обнаружилось, что плечи ее слишком обгорели для купания, поэтому она и мать наняли машину – после долгой торговли, ибо Франция научила Розмари считать деньги, – и поехали вдоль Ривьеры, дельты множества рек. Водитель, русский боярин эпохи Ивана Грозного, оказался самозванным гидом, и полные блеска названия – Канны, Ницца, Монте-Карло – начали посверкивать под их апатичным камуфляжем, шепотом повествуя о престарелых королях, приезжавших сюда обедать или умирать, о раджах, забывавших глаза Будды ради английских танцовщиц, о русских князьях, погружавших здешние недели в балтийские сумерки давних пропахших икрой дней. Русский дух витал над побережьем, в его закрытых сейчас книжных магазинах и продуктовых лавках. Десятилетие назад, в апреле, когда завершался сезон, двери православной церкви запирались, а излюбленное русскими сладкое шампанское отправлялось до их возвращения в погреба. «Вернемся в следующем сезоне», – обещали они, и опрометчиво, как оказалось, обещали, потому что не вернулись уже никогда.

Приятно было ехать ввечеру обратно в отель – над морем, светившимся красками, таинственными, как у агатов и сердоликов детства, зеленым, точно сок зеленых растений, синеватым, точно вода в прачечной, винноцветным. Приятно было проезжать мимо людей, ужинавших под открытым небом перед своими домами, слышать, как в увитых лозами маленьких *estaminet*<sup>10</sup> неистово бренчат механические пианино. Когда машина съехала с шоссе и стала спускаться к отелю Госса по темнеющим склонам, поросшим деревьями, которые поднимались одно за другим из обильной зелени, над руинами акведуков уже висела луна...

Где-то в холмах за отелем были танцы, и Розмари, слушая музыку, проникавшую под ее призрачно освещенную луной москитную сетку, понимала, что неподалеку идет веселье, и думала о приятных людях, которых увидела на пляже. Думала о том, что сможет снова увидеть их утром и что тем не менее они явно привыкли довольствоваться собственным маленьким кругом и, когда их зонты, бамбуковые подстилки, собаки и дети занимают свои места на песке, этот участок пляжа словно обносится забором. Во всяком случае, сказала себе Розмари, последние свои два утра она тем, другим, не отдаст.

---

<sup>10</sup> Кабачок, маленькое кафе (фр.).

## IV

Все решилось само собой. Мак-Киско на пляже еще не появились, а едва Розмари разостлала свой халат, как двое мужчин – тот, в жокейской шапочке, и рослый блондин, распиливающий пополам гарсонов, – покинули свою компанию и подошли к ней.

– С добрым утром, – сказал Дик Дайвер. И присел на корточки. – Знаете, обгорели вы или не обгорели, но что же вы не появились вчера? Мы за вас волновались.

Она села и счастливым смешком поблагодарила их за то, что они заговорили с ней.

– Мы даже поспорили, – продолжал Дик Дайвер, – придете ли вы нынче утром. У нас куплена в складчину еда и вино – давайте считать, что мы приглашаем вас к столу.

Дик показался ей человеком добрым и обаятельным, а тон его обещал, что он возьмет ее под свое крыло и немного позже откроет ей целый новый мир, нескончаемую вереницу великолепных возможностей. Он представил Розмари своим друзьям, не назвав ее имени, но дав ей понять, что все они знают, кто она, однако уважают ее право на частную жизнь – учтивость, которой Розмари с тех пор, как приобрела известность, вне пределов своей профессиональной среды не встречала.

Николь Дайвер, чья смуглая от загара спина казалась подвешенной к нитке жемчуга, перелистывала поваренную книгу в поисках рецепта куриных ножек по-мэрилендски. Ей было, насколько могла судить Розмари, года двадцать четыре, и, не выходя из пределов традиционного словаря, лицо ее можно было описать как миловидное, казалось, впрочем, что задумывалось оно – и по строению, и по рисунку – с эпическим размахом, как если бы и черты его, и краски, и живость выражений – все, что мы связываем с темпераментом и характером, – лепились под влиянием Родена, а затем резец ваятеля стал отсекал кое-что, добиваясь миловидности, и остановился на грани, за которой любой маленький промах грозил непоправимо умалить силу и достоинства этого лица. Вот, создавая рот Николь, скульптор решился на отчаянный риск – он изваял лук купидона с журнальной обложки, который, однако ж, ни в чем не уступал по своеобразию прочим ее чертам.

– Надолго сюда? – спросила Николь. Голос ее оказался низким, почти хриловатым.

Розмари вдруг поймала себя на мысли, что, пожалуй, они с матерью могли бы задержаться здесь еще на неделю.

– Не очень, – неопределенно ответила она. – Мы уже давно за границей – в марте высадились на Сицилии и понемногу продвигаемся на север. В январе я заработала на съемках воспаление легких, вот и приходится теперь поправлять здоровье.

– Боже милостивый! Как же это случилось?

– Перекупалась, – ответила Розмари неохотно, поскольку личных откровений она избегала. – У меня начинался грипп, я его не заметила, а снималась сцена в Венеции, я там ныряла в канал. Декорация была очень дорогая, ну я и ныряла, ныряла, ныряла все утро. И мама, и мой доктор были на съемках, да толку-то... воспаление легких я все равно получила.

И она решительно, не дав никому и слова сказать, сменила тему:

– А вам нравится здесь – я про это место?

– Еще бы оно им не нравилось, – неторопливо произнес Эйб Норт. – Они его сами же и создали.

Благородная голова Эйба медленно повернулась, и взгляд, полный ласки и преданности, остановился на Дайверах.

– Правда?

– Отель остается открытым на лето всего лишь второй год, – объяснила Николь. – В прошлом мы уговорили Госса не отпускать повара, гарсона и слугу – это окупилось, а в нынешнем году окупится еще лучше.

– Но ведь вы в отеле не живете.

– Нет, мы построили дом в Тарме – это в холмах, немного выше отеля.

– Теоретически, – сказал Дик, передвигая зонт, чтобы убрать с плеча Розмари квадратик солнечного света, – все северные места – Довиль и так далее – давно освоены равнодушными к холоду русскими и англичанами, между тем половина наших американцев происходит из стран с тропическим климатом – оттого мы и прибиваемся к этим берегам.

Молодой человек латиноамериканской наружности переворачивал страницы «Нью-Йорк Геральд».

– Ну-с, а какой национальности эти персонажи? – внезапно спросил он и прочитал с легкой французской напевностью: – «В отеле «Палас» в Веве остановились: мистер Пандели Власко, мадам Бонасье, – я ничего не преувеличиваю, – Коринна Медонка, мадам Паш, Серафим Туллио, Мария Амалия Рото Маис, Мойзес Тейфель, мадам Парагорис, Апостол Александр, Иоланда Иосфуглу и Женестьева де Мом!» Особенно хороша на мой вкус Женестьева де Мом. Так и хочется съездить в Веве, полюбоваться на нее.

Он вдруг вскочил на ноги, потянулся – все в одно резкое движение. Он был на несколько лет моложе Дайвера и Норта. Высокий, с крепким, но слишком худым телом – если не считать налитых силой плеч и бицепсов. С первого взгляда он казался заурядно красивым, вот только лицо его неизменно выражало легкое недовольство чем-то, мутившее на редкость яркий блеск его карих глаз. И все же они западали в память и оставались в ней, даже когда из нее стиралась неспособность его рта выдерживать скуку и молодой лоб, изборожденный морщинами вздорного, бессмысленного раздражения.

– На прошлой неделе нам попались в новостях и кое-какие интересные американцы, – сказала Николь. – Миссис Эвелин Устриц и... как его звали?

– Мистер С. Мясо, – ответил Дайвер и тоже встал, взял грабли и принялся с серьезнейшим видом выгребать из песка мелкие камушки.

– Да-да, мистер С. Мясо – мороз по коже, не правда ли?

Розмари было спокойно с Николь – спокойнее даже, казалось ей, чем с матерью. Эйб Норт и Барбан, оказавшийся все же французом, завели разговор о Марокко, Николь, отыскав и записав рецепт, взялась за шитье. Розмари разглядывала вещи, принесенные этими людьми на пляж, – четыре больших, создававших теневую завесу зонта, складную душевую кабину для переодевания, надувную резиновую лошадку – новые вещи, она таких никогда не видела, плоды первого послевоенного расцвета индустрии предметов роскоши, нашедшие, судя по всему, в этих людях первых покупателей. Розмари пришла к выводу, что попала в компанию людей светских, и хотя мать учила ее сторониться таких, называя их трутнями, сочла, что к новым ее знакомым это определение не относится. Даже в их совершенной бездеятельности, полной, как в это утро, Розмари ощущала некую цель, работу над чем-то, направленность, творческий акт, пусть и отличный от тех, какие ей были знакомы. Незрелый ум ее не строил догадок касательно их отношений друг с другом, Розмари интересовало лишь, как они относятся к ней, – впрочем, она почувствовала присутствие паутины каких-то приятных взаимосвязей, и чувство это оформилось в мысль о том, что они, похоже, прекрасно проводят здесь время.

Она поочередно вгляделась в троих мужчин, как будто временно присваивая их. Каждый был представительным, хоть и по-своему; во всех присутствовала особая мягкость, бывшая, поняла она, частью их существования, прошлого и будущего, не обусловленной какими-то событиями, не имеющей ничего общего с компанейскими замашками актеров, – и почувствовала также разностороннюю деликатность, отличавшую их от грубоватого, готового на все содружества режиссеров, единственных интеллектуалов, каких она пока встретила в жизни. Актеры и режиссеры – вот и все, кого Розмари знала, – их, да еще разнородные, но неотличимые

мые один от другого интересующиеся только любовью с первого взгляда студенты, с которыми она познакомилась прошлой осенью на йельском балу.

А эти трое были совсем разными. Барбан отличался меньшей, чем двое других, учтивостью, большей скептичностью и саркастичностью, манеры его были чисто формальными, даже небрежными. Эйб Норт скрывал под застенчивостью бесшабашное чувство юмора, которое и забавляло Розмари, и пугало. Серьезная по натуре, она сомневалась в своей способности произвести на него большое впечатление.

Но вот Дик Дайвер был само совершенство. Розмари безмолвно любовалась им. Кожа его, загорелая и обветренная, отливала краснотой. Красноватыми казались и короткие волосы – редкая поросль их спускалась по рукам Дика. Яркие, светившиеся резкой синевой глаза, заостренный нос. Сомнений в том, на кого он смотрит или с кем разговаривает, не возникало никогда, – и внимание его было лестным, ибо кто же смотрит на нас по-настоящему? – на нас разве что взгляды бросают, любопытные либо безразличные, вот и все. Голос Дика, чуть отдававший ирландской мелодичностью, словно упрасивал о чем-то весь окружающий мир, и тем не менее Розмари различала в нем тайную твердость, самообладание и самодисциплину – собственные ее достойные качества. О, Розмари, конечно, выбрала бы только его, и Николь, подняв на нее взгляд, увидела это, услышала легкий вздох сожаления о том, что Дик уже принадлежит другой женщине.

Незадолго до полудня на пляже появились Мак-Киско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и синьор Кэмпбелл. Они принесли с собой новый большой зонт, который и воткнули, искоса поглядывая на Дайверов, в песок, а затем удовлетворенно забились под него – все, кроме мистера Мак-Киско, надменно оставшегося сидеть на солнцепеке. Дик, ворошивший граблями песок, прошел рядом с ними и вернулся к своим зонтам.

– Двое молодых людей читают на пару «Правила хорошего тона», – негромко сообщил он.

– В вышедший швет пробиватьша надумали, – заключил Эйб.

Мэри Норт, дочерна загорелая молодая женщина, которую Розмари увидела в первый день на плоту, вернувшись из моря, улыбнулась, лукаво сверкнув зубами, и сказала:

– Итак, появились мистер и миссис Нишагуназад?

– Они – друзья вот этого человека, – напомнила ей Николь, указав на Эйба. – Почему бы ему не подойти к ним, не поговорить? Вы больше не находите их привлекательными?

– Я нахожу их *очень* привлекательными, – заверил ее Эйб. – А вот *просто* привлекательными не нахожу, только и всего.

– Ладно, я *знала*, что этим летом на пляж набьется много народу, – сказала Николь. – На *наш* пляж, который Дик своими руками освободил от кучи камней.

Она поколебалась, а затем понизила голос так, чтобы ее не услышала троица сидевших под собственным зонтом нянюшек:

– И все-таки они лучше прошлогодних британцев, то и дело вопивших: «Разве море не синее? Разве небо не белое? Разве нос у малютки Нелли не красный?»

Розмари подумала, что не хотела бы получить Николь во враги.

– Вы еще драку не видели, – продолжала Николь. – За день до вашего появления женатый мужчина, тот, чье имя походит на название суррогатного бензина, не то масла...

– Мак-Киско?

– Да, так вот, они с женой поссорились, и та швырнула ему в лицо горсть песка. А он, естественно, уселся на женушку верхом и принялся возить ее физиономией по песку. Нас это... потрясло. Я даже хотела, чтобы Дик вмешался.

– Я думаю, – произнес Дик Дайвер, опуская отсутствующий взгляд на соломенный коврик, – пойти и пригласить их к обеду.

– Нет, только не это, – быстро сказала Николь.

– По-моему, это будет правильно. Они все равно уже здесь, так давайте к ним как-то прилаживаться.

– Мы и так уж хорошо ко всему приладились, – неуступчиво усмехнулась она. – Я не желаю, чтобы *и меня* возили носом по песку. Я женщина мелочная, неуживчивая, – объяснила она Розмари, а затем повысив голос: – Дети, наденьте купальные костюмы!

Розмари почувствовала, что это купание станет для нее символическим, что отныне всякий раз, услышав слово «купаться», она будет вспоминать о нем. Вся компания направилась к воде, более чем готовая к тому, чтобы нежиться в ней долго и неподвижно, перейти из жары в прохладу, как гурман переходит от обжигающего нёбо карри к холодному белому вину. Дни Дайверов походили своим распорядком на дни цивилизаций более давних, позволяя им обоим извлекать из того, что само шло к ним в руки, все до последней капли, использовать все ценное, чем чревата любая перемена, а Розмари не знала еще, что полную поглощенность купанием сменит веселая болтовня за прованским завтраком. И снова она почувствовала, что Дик опекает ее, и словно радостно подчиняясь приказу, направилась вместе со всеми к воде.

Николь вручила мужу удивительное одеяние, над которым трудилась последнее время. Он удалился в кабинку для переодевания и вышел оттуда, породив всеобщий ажиотаж, в прозрачных подштанниках из черного кружева. При внимательном рассмотрении выяснилось, впрочем, что кружева нашиты на телесного цвета ткань.

– Кунштюк, достойный гомика! – презрительно воскликнул мистер Мак-Киско и, быстро повернувшись к мистерам Дамфри и Кэмпбеллу, добавил: – О, прошу прощения.

Розмари же, увидев этот купальный наряд, пришла в совершенный восторг. Простодушная, она упивалась дорогостоящей простотой Дайверов, не сознавая всей их сложности и умудренности, не понимая, что на ярмарке нашего мира они выбирают качество, а не количество; что и простота их повадок, отдающая детской умиротворенностью, и благодушие, и предпочтение, отдаваемое ими тому, что попроще, все это – часть заключенной от безнадежности сделки с богами, все обречено в такой борьбе, какая ей и не снилась. Наружно Дайверы определенно представляли в то время последний итог эволюции их класса, отчего большинство людей выглядело рядом с ними нескладными, – на деле же в них уже шли качественные изменения, которых Розмари попросту не замечала.

После купания она стояла посреди этой компании, пившей херес и хрустевшей сухим печеньем. Дик Дайвер перевел на нее взгляд холодных синих глаз; добрые, крепкие губы его разделились, и он произнес задумчиво и неторопливо:

– Вы – единственная виденная мной за долгое время девушка, по-настоящему похожая на дерево в цвету.

А потом Розмари плакала и плакала, уткнувшись лицом в колени матери:

– Я люблю его, мама. Я отчаянно влюбилась в него – никогда, ни к кому ничего подобного не испытывала. А он женат, и она мне тоже нравится – все так безнадежно. Ох, как я люблю его!

– Интересно было бы познакомиться с ним.

– В пятницу мы приглашены на обед.

– Если ты полюбила, это принесет тебе счастье. Смеяться следует, а не плакать.

Розмари подняла взгляд на прекрасное, подрагивавшее в улыбке лицо матери и засмеялась. Мать всегда имела на нее большое влияние.

## V

В Монте-Карло Розмари приехала почти настолько мрачной, насколько для нее это было возможно. Поднявшись по крутому склону холма к «Ла Тюрби», старому киногородку студии «Гомон», который тогда перестраивался, она постояла у зарешеченных ворот, ожидая ответа на несколько слов, написанных ею на визитной карточке, и думая, что за воротами вполне мог бы находиться и Голливуд. Там виднелись престранные остатки декораций некой снимавшейся недавно картины – развалившийся кусок индийской улицы, огромный картонный кит, чудовищное дерево, поросшее сливами величиной с бейсбольные мячи, – оно процвело здесь по чьему-то экстравагантному произволу и было таким же уместным в этом краю, как амарант, мимоза, пробковый дуб или карликовая сосна. За декорациями стоял домик, где можно было перекусить на скорую руку, и пара амбароподобных съемочных павильонов, а по всему городку расположились группки людей с размалеванными лицами, замерших в ожидании, в надежде.

Минут через десять к воротам торопливо приблизился молодой человек с волосами цвета канареечных перьев.

– Входите, мисс Хойт. Мистер Брейди сейчас на площадке, но очень хочет увидиться с вами. Простите, что вас заставили ждать, но, знаете, некоторые француженки так и норовят пролезть в...

Молодой человек, бывший, надо полагать, управляющим студии, открыл маленькую дверь в глухой стене павильона, и Розмари, довольная тем, что вступает в знакомый мир, последовала за ним в полутьму. В полутьме там и сям различались люди, обращавшие к Розмари пепельные лица, будто души чистилища, мимо которых проходит живой человек. Шепоты, негромкие голоса, а где-то, по-видимому далеко – мягкое тремоло небольшого органа. Обогнув задники стоявших углом декораций, они увидели белый, потрескивающий свет съемочной площадки, под которым неподвижно замерли лицом к лицу актер-француз – грудь, ворот и манжеты его сорочки были окрашены в ярко-розовый цвет, – и актриса-американка. Глаза обоих выражали упорство, как будто они уже простояли так не один час и за все это долгое время ничего не произошло, никакого движения. Софит вдруг погас, зашипев, и тут же включился снова; где-то вдаль молоток, грустно постукивая, просил, чтобы его впустили куда-то; вверху появилось среди ослепительных юпитеров синее лицо, сказавшее нечто неразборчивое в потолочную тьму. Затем тишину нарушил прозвучавший впереди Розмари голос:

– Не стягивай чулки, малышка, так ты еще пар десять загубишь. А этот костюмчик пятнадцать фунтов стоит.

Произнесший эти слова надвигался, пятась, на Розмари, и управляющий студии окликнул его:

– Эй, Эрл, – мисс Хойт.

Это была их первая встреча. Брейди оказался человеком подвижным, энергичным. Он пожал руку Розмари, окинул ее с головы до пят взглядом – обычное дело, всегда внушавшее ей и чувство, что она у себя дома, и ощущение некоторого превосходства над собеседником. Если к ней относятся как к реквизиту, она имеет право использовать любые преимущества, какие дает обладание им.

– Так и думал, что вы появитесь со дня на день, – сказал Брейди голосом чуть более повелительным, чем то требуется для спокойной личной жизни, и несущим следы отчасти вызывающего выговора кокни. – Хорошо прокатились?

– Да, но мы рады, что скоро вернемся домой.

– Не-е-ет! – возразил он. – Оставайтесь еще ненадолго, мне нужно поговорить с вами. Должен вам сказать, что ваша картина «Папенькина дочка», – я посмотрел ее в Париже и сразу послал телеграмму на Побережье, чтобы выяснить, есть ли у вас новый контракт...

– Просто я должна... извините.

– Господи, какая картина!

Улыбаться в глупом согласии Розмари не желала и потому нахмурилась.

– Никому не хочется, чтобы о нем судили лишь по одной картине, – сказала она.

– Конечно – и правильно. Так какие у вас планы?

– Мама решила, что мне необходимо отдохнуть. Когда я вернусь, мы либо подпишем контракт с «Первой национальной», либо останемся в «Прославленных актерах».

– «Мы» – это кто?

– Моя мама. Делами у нас ведает она. Я без нее как без рук.

Он снова окинул ее взглядом, и что-то в Розмари потянулось к нему. Она не назвала бы это приязню и уж тем более безотчетным обожанием, какое внушил ей утром на пляже другой мужчина. Так, подобие легкого щелчка. Брейди желал ее, и она, насколько то позволяли ее девственные чувства, невозмутимо обдумывала свою возможную капитуляцию. Зная при этом, что, распрощавшись с ним, через полчаса о нем забудет – как об актере, с которым целовалась на съемках.

– Вы где остановились? – спросил Брейди. – Ах да, у Госса. Так вот, у меня на этот год все расписано, однако письмо, которое я вам послал, остается в силе. Снять вас мне хочется больше, чем любую другую девушку, какая появилась со времен юной Конни Толмадж.

– И мне хочется сняться у вас. Почему вы не возвращаетесь в Голливуд?

– Терпеть его не могу. Мне и здесь хорошо. Подождите, мы снимем сцену, и я вам тут все покажу.

Он вышел на площадку и негромко заговорил с французским актером.

Прошло пять минут – Брейди продолжал говорить, француз время от времени переступал с ноги на ногу и кивал. Неожиданно ярко вспыхнувшие юпитеры облили эту пару гудящим сиянием и заставили Брейди задрать голову и что-то крикнуть вверх. В Лос-Анджелесе сейчас только и разговоров что о Розмари. Она невозмутимо пошла назад сквозь нагромождение тонких перегородок, ей хотелось вернуться туда. А иметь дело с Брейди в том настроении, которое, знала Розмари, сложится у него по окончании съемки, не хотелось, и она покинула киногородок, продолжая ощущать его колдовские чары. Теперь, когда она побывала на студии, Средиземноморье выглядело не таким притихшим. Ей нравились его пешеходы, и по пути к вокзалу она купила пару эспадрилий.

Мать Розмари была довольна тем, что дочь так точно выполнила ее указания, и все же ей хотелось поскорее пуститься в путь. Выглядела миссис Спирс посвежевшей, однако она устала; человек, которому довелось посидеть у одра смерти, устает надолго, а ей как-никак выпало посидеть у двух.

## VI

Впавшая в благодушие от выпитого за ленчем розового вина, Николь Дайвер скрестила на груди руки так высоко, что покоившаяся на ее плече розовая камелия коснулась щеки, и вышла в свой чудесный, напрочь лишенный травы сад. Одну его границу образовывал дом, из которого сад вытекал и в который втекал, две других – старая деревня, а четвертую – утес, уступами спадавший к морю.

Вдоль стен, ограждавших сад от деревни, на всем лежала густая пыль – на извивистых лозах, на лимонных деревьях и эвкалиптах, на садовой тачке, оставленной здесь лишь мгновение назад, но уже вросшей в тропинку, изнурившись и слегка затрухляев. Николь всегда удивляло немного, что, повернув в сторону от стены и пройдя мимо пионовых клумб, она попадала в пределы столь прохладные и зеленые, что листья и лепестки сворачивались там от нежной сырости.

Шею Николь укрывал завязанный узлом сиреневый шарф, даже в бесцветном солнечном свете отбрасывавший свои отсветы вверх, на ее лицо, и вниз, к земле, по которой она ступала. Лицо казалось строгим, почти суровым, лишь в зеленых глазах Николь светилось сострадательное сомнение. Светлые некогда волосы ее теперь потемнели, и все-таки ныне, в двадцать четыре года, она была прелестнее, чем в восемнадцать, в пору, когда эти волосы затмевали ее красоту.

По тропинке, которая прорезала сплошную, как туман, поросль цветов, льнувшую к веренице белых камней по ее краям, Николь вышла на поляну над морем; здесь спали среди фиговых деревьев фонари, и большой стол, и плетеные кресла, и огромный рыночный зонт из Сиены теснились под великанской сосной, самым большим деревом сада. Николь постояла немного, отсутствующе вглядываясь в ирисы и настурции, вперемешку росшие у подножия сосны, словно кто-то бросил под ней на землю неразобранную пригоршню семян, вслушиваясь в жалобы и укоризны какой-то ссоры, разыгравшейся в детской дома. Когда эти звуки замерли в летнем воздухе, Николь пошла дальше между калейдоскопических, сбившихся в розовые облака пионов, черных и бурых тюльпанов и розовато-лиловых стеблей, венчавшихся хрупкими розами, сквозистыми, точно сахарные цветы в витрине кондитерской, – и наконец, когда исполнявшееся цветами скерцо утратило способность набрать еще большую силу, оно вдруг оборвалось, замерев в воздухе, и показались влажные ступеньки, спускавшиеся на пять футов к следующему уступу.

Здесь бил из земли ключ, обнесенный дощатым настилом, мокрым и скользким даже в самые солнечные дни. Обойдя его, Николь поднялась по лесенке в огород; шла она довольно быстро, движение нравилось ей, хотя временами от нее исходило ощущение покоя, сразу и оцепенелого, и выразительного. Объяснялось это тем, что слов она знала не много, не верила ни одному и в обычной жизни была скорее молчуньей, вносящей в разговоры лишь малую толику утонченного юмора – с точностью, которая граничила со скупостью. Впрочем, когда не знавшие Николь собеседники начинали неловко поеживаться от ее экономности, она вдруг завладевала разговором и прищипоривала его, сама на себя дивясь, – а потом отдавала в чьи-нибудь руки, резко, если не робко, точно услужливый ретривер, доказавший и умелость свою, и еще кое-что.

Пока она стояла в расплывчатом зеленом свете огорода, тропинку впереди пересек направлявшийся в свою мастерскую Дик. Николь молча подождала, пока он исчезнет из виду, потом прошла между грядок будущего салата к маленькому «зверинцу», где голуби, кролики и попугай осыпали ее неразберихой презрительных звуков, а там, спустившись на следующий выступ, приблизилась к низкой изогнутой стене и взглянула вниз, на лежавшее в семистах футах под ней Средиземное море.

Вилла Дайверов располагалась на краю еще в древности построенного в холмах городка Тарме. Прежде на ее месте и на принадлежавшей вилле земле стояли последние перед кручей крестьянские жилища – пять из них соединили, отчего получился большой дом, четыре снесли, чтобы разбить сад. Внешние их ограды остались нетронутыми, и потому с шедшей далеко внизу дороги вилла была неотличима от фиалково-серой массы городка.

Недолгое время Николь простояла, глядя вниз, на море, однако занять здесь свои неутомимые руки ей было нечем. В конце концов Дик вынес из его однокомнатного домишки подзорную трубу и нацелил ее на восток, на Канны. Николь ненадолго попала в поле его зрения, и он снова скрылся в домике, но сразу вышел оттуда с рупором в руке. Механических игрушек у него было много.

– Николь, – крикнул он, – забыл сказать, в виде последнего жеста милосердия я пригласил к нам на обед миссис Абрамс, беловласую женщину.

– Были у меня такие подозрения. Безобразие!

Легкость, с которой ее слова достигли Дика, показалась Николь унижительной для его рупора, поэтому она, повысив голос, крикнула:

– Ты меня слышишь?

– Да, – он опустил рупор, но сразу же, из чистого упрямства, снова поднял его ко рту. – Я собираюсь пригласить и еще кое-кого. Тех двух молодых людей.

– Ладно, – спокойно согласилась она.

– Мне хочется устроить вечер, по-настоящему *кошмарный*. Серьезно. С руганью, совращениями, вечер, после которого гости будут расходиться в растрепанных чувствах, а женщины падать в обморок в туалете. Вот подожди, увидишь, что у меня получится.

Он вернулся в свой домик, Николь же поняла, что муж впал в одно из самых характерных его настроений, в возбуждение, которое втягивает в свою орбиту всех и каждого и неотвратимо приводит к меланхолии личного его фасона, – Дик никогда не выставлял это свое состояние напоказ, однако Николь его узнавала. Какие-то вещи и явления возбуждали ее мужа с силой, совершенно не пропорциональной их значению, делая его обхождение с людьми поистине виртуозным. И это заставляло их, если они не были чрезмерно трезвыми или вечно подозрительными, зачарованно и слепо влюбляться в него. Но затем Дик неожиданно понимал, сколько сил потратил неизвестно на что и на какие сумасбродства пускался, и его постигало унылое отрезвление. И он с испугом оглядывался назад, на устроенные им карнавалы любовной привязанности, – так генерал может с оторопью вспоминать о массовой бойне, развязанной по его приказу ради удовлетворения общечеловеческой кровожадности.

Однако и недолгое пребывание в мире Дика Дайвера было переживанием замечательным: человек проникался верой, что именно *его* окружают здесь особой заботой, распознавая возвышенную уникальность его назначения, давно похороненную под многолетними компромиссами. Дик мгновенно завоевывал каждого исключительной участливостью и учтивостью, которые проявлял с такой быстротой и интуицией, что осознать их удавалось лишь по результатам, к коим они приводили. А затем без всякой опаски раскрывал, дабы не увял первый цвет новых отношений, дверь в свой восхитительный мир. Пока человек сохранял готовность полностью отдаться этому миру, счастье его оставалось предметом особых забот Дика, но при первом же проблеске сомнений, вызываемых тем, что в мир этот впускают кого ни попадя, Дик попросту испарялся прямо на глазах у бедняги, оставляя ему столь скудные воспоминания о своих словах и поступках, что о них и рассказать-то нечего было.

В тот вечер, в половине девятого, он вышел из дома, чтобы встретить первых гостей, держа свой пиджак в руке и церемониально, и многообещающе – как держит плащ тореадор. Стоит отметить, что, попрощавшись с Розмари и ее матерью, он умолк, ожидая, когда те заговорят первыми, словно позволяя им опробовать свои голоса в новой для них обстановке.

Розмари полагала, если говорить коротко, что после подъема к Тарме и она, и ее мать, надышавшиеся свежего воздуха, выглядят почти привлекательно. Так же, как личные качества людей необычайных с ясностью проявляются в их режущих слух оговорках, дотошно просчитанное совершенство виллы «Диана» мгновенно явило себя, несмотря даже на случайные незадачи вроде мелькавшей на заднем плане горничной или неподатливости винной пробки. Когда появились, принеся с собой все тревожения этого вечера, первые гости, простые домашние хлопоты дня, символом коих были дети Дайверов, еще ужинавшие на террасе со своей гувернанткой, мирно отступили перед ними на второй план.

– Какой прекрасный сад! – воскликнула миссис Спирс.

– Сад Николь, – сказал Дик. – Никак она не оставит его в покое – допекает и допекает, боится, что он чем-нибудь заболеет. А мне остается только ждать, когда сама она сляжет с мучнистой росой, «мухоседом» или картофельной гнилью.

Он решительно наставил указательный палец на Розмари и с дурашливостью, непонятно как создававшей впечатление отеческой заботы, сообщил:

– Я надумал спасти ваш рассудок от страшной беды – подарить вам пляжную шляпу.

Дик провел их из сада на террасу, разлил по бокалам коктейль. Появился Эрл Брейди, удивившийся, увидев Розмари. В сравнении со съёмочной площадкой, резкости в повадках его поубавилось, он словно оставил свою ершистость у калитки виллы, но Розмари, мгновенно сравнив его с Диком Дайвером, сразу отдала предпочтение последнему. Рядом с Диком Эрл Брейди выглядел немного вульгарным, грубоватым, и все-таки по телу Розмари словно ток пробежал – ее снова потянуло к нему.

Он, как к старым знакомым, обратился к вставшим из-за стола детям:

– Привет, Ланье, ты как насчет попеть? Может, вы с Топси споете для меня песенку?

– А какую? – с готовностью поинтересовался мальчик, говоривший слегка нараспев, как это водится у растущих во Франции американских детей.

– Спойте «*Mon Ami Pierrot*».

Брат с сестрой, несколько не стесняясь, встали бок о бок, и их благозвучные, звонкие голоса полетели по вечернему воздуху.

Au clair de la lune  
Mon Ami Pierrot  
Prête-moi ta plume  
Pour écrire un mot  
Ma chandelle est morte  
Je n'ai plus de feu  
Ouvre-moi ta porte  
Pour l'amour de Dieu.

Пение смолкло, дети, принимая похвалы, стояли со спокойными улыбками на светившихся в последних лучах солнца лицах. И вилла «Диана» вдруг показалась Розмари центром вселенной. В таких декорациях наверняка должно происходить нечто запоминающееся навсегда. На душе у нее стало еще легче, когда она услышала, как звякнул колокольчик открываемой калитки, но тут на террасу поднялись новые гости – Мак-Киско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и мистер Кэмпбелл.

Розмари ощутила укол острого разочарования и бросила быстрый взгляд на Дика, словно прося его объяснить столь несуразный выбор гостей. Однако ничего необычного на лице его не увидела. Горделиво приосанившись, он поприветствовал пришедших с подчеркнутым уважением к их бесконечным, хоть пока и не известным ему достоинствам. Розмари доверяла

ему настолько, что мгновенно согласилась с правильностью присутствия Мак-Киско, словно с самого начала ждала встречи с ними.

– Мы с вами сталкивались в Париже, – сказал Мак-Киско Эйбу Норту, вошедшему вместе с женой почти по пятам за этой компанией, – собственно, сталкивались дважды.

– Да, помню, – ответил Эйб.

– А где именно, помните? – спросил не желавший остаться без собеседника Мак-Киско.

– Ну, по-моему... – однако Эйбу уже наскучила эта игра, – нет, не помню.

Разговор их заполнил неловкую паузу, а затем наступило молчание, и инстинкт внушил Розмари, что необходимо сказать кому-нибудь что-нибудь исполненное такта, однако Дик не стал пытаться как-то перегруппировать пришедших последними гостей или хотя бы стереть с лица миссис Мак-Киско выражение позабавленного высокомерия. Он не желал разрешать сложности их общения, поскольку понимал, что большого значения таковые не имеют, а со временем разрешатся сами собой. Гости эти ничего о нем не знали, вот он и сберегал силы для мгновений более важных, до времени, когда они поймут, что все идет хорошо и прекрасно.

Розмари стояла рядом с Томми Барбаном – тот пребывал сегодня в настроении особенно презрительном и, по-видимому, имел для этого некие веские основания. На следующее утро он уезжал.

– Возвращаетесь домой?

– Домой? У меня нет дома. Поеду на войну.

– На какую?

– На какую? А на любую. Газет я в последнее время не просматривал, но, полагаю, где-нибудь да воюют – как всегда.

– И вам все равно, за что сражаться?

– Решительно все равно – пока со мной хорошо обращаются. Оказавшись в тупике, я всегда приезжаю повидаться с Дайверами, поскольку знаю, что через пару недель меня потянет от них на войну.

Розмари замерла.

– Вам же нравятся Дайверы, – напомнила она Томми.

– Конечно, в особенности она, тем не менее они пробуждают во мне желание повоевать.

Розмари попыталась осмыслить сказанное им – и не смогла. У нее-то Дайверы вызывали желание навсегда остаться рядом с ними.

– Вы ведь наполовину американец, – сказала она – так, словно это могло что-то объяснить.

– И наполовину француз, получивший образование в Англии и успевший с восемнадцати лет поносить военную форму восьми стран. Надеюсь, однако, у вас не создалось впечатление, что я не люблю Дайверов, – я люблю их, в особенности Николь.

– Разве их можно не любить? – отозвалась Розмари.

Томми представлялся ей человеком очень далеким от нее. Подтекст его слов отталкивал Розмари, ей хотелось оградить свое преклонение перед Дайверами от кощунственной горечи Томми. Хорошо, что ей не придется сидеть рядом с ним за накрытым в саду столом, направляясь к которому она все еще думала о его словах: «В особенности Николь».

По пути к столу Розмари нагнала Дика Дайвера. Что бы ни попадало в орбиту его ясного и резкого блеска, все блекло, вырождалось в уверенность: вот человек, который знает все на свете. За последний год, а для нее это была целая вечность, Розмари обзавелась деньгами, определенной популярностью, знакомствами с очень известными людьми, и эти последние подавали себя как носителей тех же самых, но только неимоверно усиленных качеств, какие были присущи людям, знакомым вдове и дочери военного врача по парижскому пансиону. Розмари была девушкой романтической, однако в ее карьере ничего такого пока не происходило. У матери имелись свои соображения относительно ее будущего, и она не потерпела бы сомнительных

суррогатов любви, которых вокруг было хоть пруд пруди, протяни только руку, – да Розмари и сама была уже выше их, ибо, попав в мир кино, все же не стала его частью. И оттого, увидев по лицу матери, что Дик Дайвер понравился ей, увидев на этом лице выражение, говорившее «то, что нужно», Розмари поняла: ей дано разрешение пойти до конца.

– Я наблюдал за вами, – сказал Дик, и она сразу поняла, что говорит он всерьез. – Вы нравитесь нам все больше и больше.

– А я полюбила вас с первого взгляда, – тихо ответила Розмари.

Он сделал вид, что слова эти оставили его равнодушным – как если б они были сделанным из одной лишь воспитанности комплиментом.

– Новым друзьям, – сказал он, словно желая сообщить нечто важное, – часто бывает легче друг с другом, чем старым.

И, едва успев выслушать эту сентенцию, толком ею не понятую, Розмари оказалась за столом, который выхватывали из густевших сумерек неторопливо разгоравшиеся фонари. Мощный аккорд радости грянул в ее душе, когда она увидела, как Дик усаживает мать по правую руку от себя; Розмари же получила в соседи Луи Кэмпiona и Брейди.

В приливе восторженных чувств она повернулась, намереваясь поделиться ими, к Брейди, однако стоило ей назвать имя Дика, в глазах режиссера обозначилось циничное выражение, и Розмари поняла, что роль заботливого отца ему не по вкусу. В свой черед и она твердо отклонила попытку Брейди накрыть ее ладонь своей, после чего они заговорили об общем их ремесле. Розмари, слушая рассуждения Брейди, не сводила вежливого взора с его лица, однако мысли ее столь откровенно витали далеко от него, что она побаивалась, как бы Эрл не догадался об этом. Время от времени она улавливала несколько его фраз, а ее подсознание добавляло к ним остальные, – так человек замечает иногда звон часов лишь в середине их боя, и в сознании его удерживается всего только ритм первых, не сочтенных им ударов.

## VII

В разговоре возникла пауза, Розмари взглянула туда, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортон сидела Николь, чьи золотистые волосы словно вскипали и пенились в свете свечей. Прислушавшись, Розмари уловила приглушенные звуки ее грудного голоса и тут же вся обратилась в слух – Николь не часто произносила длинные фразы:

– Бедняга! Но почему вам захотелось распилить его?

– Естественно, чтобы посмотреть, что у гарсона внутри. Разве вам не интересно узнать, что кроется внутри гарсона?

– Старые меню, – издав короткий смешок, предположила Николь, – осколки разбитых фарфоровых чашек, чаевые и огрызки карандашей.

– Совершенно верно, но важно добыть научные доказательства этого. И разумеется, если мы будем добывать их посредством музыкальной пилы, она оградит нас от всяческой пачкотни и убожества.

– Вы намеревались, производя операцию, играть на пиле? – поинтересовался Томми Барбан.

– Нет, так далеко мы не зашли. К тому же он завопил, и это нас напугало. Мы опасались, что он надорвет горло или еще какой-нибудь важный орган.

– Мне это кажется до крайности странным, – сказала Николь. – Музыкант, использующий пилу другого музыканта, чтобы...

За полчаса застолья обстановка ощутимо переменялась: один гость за другим позабывал о чем-то для него важном – о заботах, тревогах, подозрениях, – и теперь они были просто гостями Дайверов, и в каждом проступила лучшая его сторона. Каждому стало казаться, что если он не проявит дружелюбия и заинтересованности, то ранит тем самым хозяев дома, а этого никто не хотел, и Розмари, видевшая старания гостей, любила их всех – за исключением Мак-Киско, который ухитрялся и здесь держаться особняком. Причиной тому была не злая воля, а его решимость укрепить посредством вина веселое настроение, в котором он сюда прибыл. Откинувшись на спинку кресла, соседствовавшего с креслами Эрла Брейди, к которому он обратился с несколькими уничижительными замечаниями насчет кино, и миссис Абрамс, к которой он и обращаться не стал, Мак-Киско взирал на Дика Дайвера, сидевшего наискосок от него по другую сторону стола, с сокрушительной ироничностью, воздействие коей ослабляли, впрочем, предпринимаемые им время от времени попытки втянуть Дика в разговор.

– Вы ведь дружите с Ван-Бьюреном Денби? – мог, к примеру, осведомиться Мак-Киско.

– Не уверен, что знаю его.

– Я думал, вы с ним друзья, – раздраженно настаивал он.

После того как тема «мистера Денби» рухнула под собственной тяжестью, Мак-Киско опробовал несколько других, столь же никому не интересных, но всякий раз сама уважительность проявляемого Диком внимания словно вгоняла его в паралич, и разговор, прерванный им, после недолгого оцепенелого молчания продолжался без него. Он попытался вмешиваться в другие беседы, однако это походило на пожимание перчатки, из которой вынута ладонь, и в конце концов Мак-Киско, соорудив кроткую мину человека, попавшего в общество малых детей, полностью сосредоточился на шампанском.

Время от времени взгляд Розмари пробежал вдоль стола, ей хотелось, чтобы всем было хорошо, – хотелось так сильно, словно за ним сидели будущие ее приемные дети. На столе изысканно светила изнутри ваза с пряными гвоздиками, свет ее падал на полное силы, терпимости, девичьей доброжелательности лицо миссис Абрамс, раздумывавшейся, но в пределах приличия, от «Вдовы Клико»; за ней сидел мистер Ройал Дамфри, девическая смазливость которого выглядела в ласковой атмосфере этого вечера менее ошеломительной. За ним – Вио-

летта Мак-Киско, все ее приятные качества обнажились сейчас, как горная порода, и она махнула рукой на старания приладиться к положению тени своего мужа, карьериста без карьеры.

За нею сидел Дик, обремененный грузом вялых забот, от которых он на время избавил других, с головой ушедших в устроенный им прием.

За Диком – мать Розмари, как всегда совершенная.

Затем Барбан, учтиво и непринужденно беседовавший с нею, отчего он снова понравился Розмари. Затем Николь. Розмари вдруг увидела ее по-новому и нашла одной из самых красивых женщин, каких когда-либо знала. Ее лицо, лицо святой, Мадонны викингов, светилось за тонкой пеленой пылинок, завивавшихся, словно снежинки, вокруг пламени свечей, перенимало румянец у горевших в сосняке винноцветных фонарей. Она была спокойна, как само спокойствие.

Эйб Норт рассказывал ей о своем моральном кодексе. «Конечно, он у меня есть, – уверял Эйб, – без морального кодекса не проживешь. Мой сводится к тому, что я не одобряю сожжения ведьм. Стоит кому-нибудь сжечь ведьму, как я просто на стену лезу». Розмари знала от Брейди, что Эйб – композитор, который после блестящего, очень раннего дебюта вот уж семь лет как ничего не написал.

За ним сидел Кэмпбелл, сумевший каким-то образом обуздать свое режущее глаз женоподобие и даже начавший навязывать соседям что-то вроде бескорыстной материнской заботы. За ним Мэри Норт с лицом столь веселым, что невозможно было не улыбнуться в ответ, увидев ее белоснежные зубы, – таким кружком упоения обведен был ее приоткрытый рот.

И наконец, Брейди, чья прямота обращалась мало-помалу в подобие светскости, замещавшей череду беспардонных заверений в присутствии ему душевного здравия и умении беречь его, отказываясь принимать в расчет человеческую уязвимость.

Розмари, ощущавшей – совсем как ребенок из какой-нибудь скверной книжки миссис Бёрнетт<sup>11</sup> – животворное облегчение, казалось, что она возвращается домой после ничтожных и неприличных походов на далекой границе. Светляки плыли к ней по темному воздуху, где-то на одном из далеких нижних уступов обрыва лаяла собака. Стол словно вознесся немного к небу, как снабженная подъемным механизмом танцевальная площадка, дав сидевшим за ним людям почувствовать, что они остались наедине друг с другом в темной вселенной, питаясь единственной пищей, какая в ней есть, согреваясь ее единственным светом. И Дайверы начали вдруг, – как если бы приглушенный, странный смех миссис Мак-Киско сказал им, что их гости уже достигли полной отрешенности от мира, – теплеть, светиться и расширяться, словно желая вернуть им, столь умело убежденным в их значимости, столь польщенным любезностью оказанного им приема, все, что они оставили в своей далекой стране, все, по чему скучали. Всего лишь на миг создалось впечатление, что Дайверы обращаются ко всем и каждому, кто сидел за столом, заверяя их в своем расположении к ним, в привязанности. И на миг лица, повернувшиеся к ним, стали лицами бедных детей на рождественской елке. А затем это единение распалось – миг, в который гости отважно воспарили над своей веселой компанией в разреженный воздух вдохновенных чувств, миновал прежде, чем они успели непочтительно вдохнуть его, и даже прежде, чем успели хотя бы наполовину понять, куда попали.

Однако в них вошла рассеянная повсюду вокруг магия горячего, сладкого Юга – она покинула шедшую на мягких лапах ночь и призрачный плеск Средиземного моря далеко внизу и растворилась в Дайверах, став частью их существа. Розмари наблюдала за тем, как Николь убеждает ее мать принять в подарок понравившуюся той желтую туалетную сумочку, говоря: «По-моему, вещи должны принадлежать тем, кому они по душе», как сметаает в нее все желтое,

---

<sup>11</sup> Френсис Бёрнетт (1849–1924) – американская писательница, автор сентиментальных детских книг («Маленький лорд Фаунтлерой»).

что смогла отыскать, – карандаш, тубус губной помады, маленькую записную книжку – «все это один набор».

Николь ушла, а вскоре Розмари обнаружила, что и Дик покинул гостей, и одни разбрелись по саду, другие стали понемногу стекаться к террасе.

– Вы не хотите, – спросила у Розмари Виолетта Мак-Киско, – заглянуть в ванную комнату?

– Только не сейчас.

– А я, – объявила миссис Мак-Киско, – хочу заглянуть в ванную комнату.

И она – женщина прямая, откровенная – направилась к дому, унося с собой свою тайну, и Розмари проводила ее неодобрительным взглядом. Эрл Брейди предложил Розмари спуститься к стенке над морем, однако она чувствовала, что для нее настало время получить свою долю Дика Дайвера, когда тот вернется, и потому осталась сидеть за столом, слушая препирательства Мак-Киско с Барбаном.

– Почему вы хотите воевать с Советами? – насккивал на него Мак-Киско. – С величайшим экспериментом, какой поставило человечество? Есть же Риф. По-моему, в том, чтобы сражаться на правой стороне, героизма больше.

– А как вы узнаете, какая из них правая? – сухо осведомился Барбан.

– Ну... как правило, это ясно любому разумному человеку.

– Вы коммунист?

– Я социалист, – ответил Мак-Киско. – И Россия мне симпатична.

– Ладно, а я солдат, – приятным тоном уведомил его Барбан. – Моя работа – убивать людей. Я воевал с Рифом, потому что я европеец, и воевал с коммунистами, потому что они хотят забрать мою собственность.

– Из всех узколобых объяснений... – Мак-Киско завертел головой, надеясь образовать с кем-нибудь иронический союз, но никого не нашел. Он не понимал, с чем встретился в Барбане, ничего не знал ни о простоте его идей, ни о сложности подготовки. Нет, что такое идеи, Мак-Киско, конечно, знал и по мере развития его сознания обретал способность распознавать и раскладывать по полочкам все большее их число, – однако столкнувшись с человеком, которого он счел «тупицей», в котором не обнаружил вообще никаких знакомых ему идей, но личного превосходства над ним почувствовать все же не смог, пришел к заключению, что Барбан есть конечный продукт старого мира и, как таковой, ничего не стоит. Встречи Мак-Киско с представителями высших классов Америки оставили его при впечатлении, что они – неопределенные и косные снобы, которые упиваются своим невежеством и нарочитой грубостью, перенятыми у англичан, при этом он как-то забыл, что английское филистерство и грубость были умышленными, а применялись они в стране, позволявшей неотесанным мало-знайкам добиваться большего, чем где бы то ни было в мире, – идея, достигшая высшего развития в «гарвардских манерах» примерно 1900 года. Вот и Барбан, решил Мак-Киско, тоже «из этих», а будучи пьяным, торопливо забыл о своей зависти к нему, – что и привело его к нынешнему неприятному положению.

Розмари испытывала смутный стыд за поведение Мак-Киско, однако сидела внешне безмятежная, но пожираемая внутренним пламенем, и ждала возвращения Дика Дайвера. Со своего места за опустевшим, если не считать Барбана, Мак-Киско и Эйба, столом она видела тропинку, шедшую вдоль зарослей папоротника и мирта к террасе, и любовалась профилем матери в освещенном проеме двери – и почти уж собралась пойти к ней, как вдруг из дома выскочила миссис Мак-Киско.

Возбуждение словно прыскало из каждой ее поры. По одному только молчанию, с которым она отодвинула от стола кресло и села, по ее широко раскрытым глазам, по немного подергивавшемуся рту все поняли, что перед ними женщина, распираемая новостями, и все усталились на нее, и вопрос ее мужа: «В чем дело, Ви?» – прозвучал совершенно естественно.

– Дорогая... – сказала она всем сразу, а затем повернулась к Розмари, – дорогая... нет, ничего. Я, право же, не могу и слова выговорить.

– Вы здесь среди друзей, – сказал Эйб.

– В общем, дорогие мои, я увидела наверху такую сцену, что...

Она умолкла, загадочно покачав головой, и очень вовремя, поскольку Томми встал из-за стола и сказал ей вежливо, но резко:

– Не советую вам распространяться о том, что происходит в этом доме.

## VIII

Виолетта вздохнула – тяжело и шумно – и постаралась изменить, что далось ей не без труда, выражение лица.

Наконец появился Дик, и безошибочный инстинкт велел ему разлучить Барбана и Мак-Киско и завести с последним, изображая любознательность и полное невежество, разговор о литературе, наконец-то позволивший Мак-Киско почувствовать столь необходимое ему превосходство. Потом все, кто оказался поблизости, помогли Дику перенести в дом лампы – кому же не по душе прогулка в темноте с горящей лампой в руках, да еще и с чувством исполнения полезного дела? Розмари тоже участвовала в этом шествии, терпеливо удовлетворяя тем временем неисчерпаемое любопытство Ройала Дамфри касательно всего, относящегося к Голливуду.

«Теперь, – думала она, – я заслужила возможность какое-то время побыть с ним наедине. Он и сам должен понимать это, потому что живет по тем же законам, какие преподавала мне мама».

Розмари угадала верно, спустя недолгое время Дик разлучил ее со сбившейся на террасе компанией, и они вдвоем направились от дома к стене над морем, – Розмари не столько шла, сколько совершала равномерные шаги, то подчиняясь тянувшей ее вперед руке Дика, то вспархивая, как легкий ветерок.

Оба вглядывались в Средиземное море. Далеко внизу бухту пересекал, возвращаясь на один из Леринских островов, последний прогулочный катер, плывший точно воздушный шарик, отпущенный в небо Четвертого июля. Плыл между черными островами, ласково рассекая темные волны отлива.

– Я понял, почему вы так говорите о вашей матери, – сказал Дик. – По-моему, и она замечательно к вам относится. Ей присуща мудрость того разряда, какой в Америке встречается редко.

– Мама – само совершенство, – благоговейно произнесла Розмари.

– Я переговорил с ней о возникшем у меня плане, и она сказала, что продолжительность ее и вашего пребывания во Франции зависит только от вас.

«От *тебя*», – едва не выпалила вслух Розмари.

– А поскольку здесь все заканчивается...

– Заканчивается? – переспросила она.

– Ну да, заканчивается эта часть лета. На прошлой неделе уехала сестра Николь, завтра уезжает Томми Барбан. А в понедельник – Эйб с Мэри. Быть может, попозже летом тут и будет происходить что-нибудь занятное, но нынешнему веселью приходит конец. И мне хочется, чтобы оно погибло насильственной смертью, а не угасало сентиментально, – потому я и устроил сегодняшний обед. Я вот к чему клоню – мы с Николь собираемся в Париж, проводить отбывающего в Америку Эйба Нортона, ну я и подумал, может быть, и вам захочется поехать с нами.

– А что говорит мама?

– По-моему, идея моя ей понравилась. Сама она ехать туда не хочет. Ей хочется, чтобы мы отправились в Париж без нее.

– Я не видела Парижа, с тех пор как выросла, – сказала Розмари. – С удовольствием посмотрела бы на него вместе с вами.

– Вы очень любезны. – Показалось ей или в голосе Дика и вправду вдруг зазвучал металл? – Знаете, вы ведь разволновали наше воображение, едва появившись на пляже. Столько живой энергии – мы были уверены, в особенности Николь, что это у вас профессиональное. Не стоит тратить ее – ни на отдельного человека, ни на компанию.

Интуиция Розмари словно криком кричала: он понемногу отдаляется от тебя, уходит к Николь, – и она попыталась задержать его, сказав с не меньшей сдержанностью:

– Мне тоже хотелось бы узнать о вас все – особенно о вас. Я уже говорила, что полюбила вас с первого взгляда.

Это был правильный ход. Однако расстояние, отделяющее небеса от земли, остудило душу Дика, убило порыв, который заставил его привести сюда Розмари, внушило мысль о слишком очевидной привлекательности этого соблазна, о том, что не стоит играть не выученную им роль в неотрепетированной сцене.

И он попытался внушить ей желание вернуться в дом, но это было непросто, а совсем потерять Розмари ему не хотелось. Она же, услышав его добродушную шутку: «Вы сами не знаете, чего хотите. Вам лучше у мамы об этом спросить», ощутила лишь, как на нее повеяло холодком.

Розмари словно гром поразил. Она прикоснулась к Дику, и гладкая ткань его костюма показалась ей подобием ризы. Она подумала, что сейчас упадет на колени, – и решилась сказать напоследок:

– По-моему, вы самый чудесный человек, какого я знаю, – если не считать маму.

– Вы чересчур романтичны.

Смех Дика понес их, словно ветерок, к террасе, и там он сдал Розмари на руки Николь...

А очень скоро наступило время прощания, и Дайверы постарались, чтобы оно не затягивалось. В их большой «изотте» должен был ехать Томми Барбан со своим багажом, – ему предстояло провести ночь в отеле, так легче было попасть на ранний поезд, – компанию Томми составляли миссис Абрамс, чета Мак-Киско и Кэмпбелл. Направлявшийся в Монте-Карло Эрл Брейди предложил забросить Розмари с матерью в их отель, с ними поехал и Ройал Дамфри, для которого места в машине Дайверов не осталось. Садовые фонари еще горели вокруг стола, за которым все они обедали. Дайверы бок о бок стояли у ворот, заново расцветшая Николь одаривала своей грациозностью ночь, Дик прощался с каждым гостем отдельно, называя его по имени. Розмари казалась мучительной мысль, что она уедет, а Дайверы останутся в своем доме. И она подумала снова: что же такое увидела из ванной комнаты миссис Мак-Киско?

## IX

Черная, хоть и ясная ночь свисала, будто корзина с гвоздя, с единственной тусклой звезды. Напор плотного воздуха приглушал гудочки шедшей впереди машины. Шофер Брейди предпочитал езду неспешную – хвостовые огни первой машины появлялись время от времени, когда он поворачивал вместе с дорогой, но затем исчезли совсем. Однако минут десять спустя показались снова – на обочине. Шофер Брейди притормозил немного, но тут лимузин Дайверов медленно стронулся с места. Обгоняя лимузин, они услышали горланившие в нем невнятные голоса и увидели, что водитель его ухмыляется. Потом они ехали сквозь быстро сменявшиеся друг друга наслоения тьмы, и в конце концов прозрачная ночь привела их по обратившейся в «русские горки» дороге к громаде госсовского отеля.

Часа три Розмари продремала, а после лежала без сна в гамаке лунного света. Окутанная эротическим сумраком, она перебирала в голове различные возможности, способные привести к поцелую, но вскоре исчерпала все – да и сам поцелуй получался у нее каким-то расплывчатым, киношным. Она вертелась с боку на бок, – то была первая в ее жизни бессонница, – и старалась представить, как взялась бы за разрешение ее сложностей мама. При этом она не раз и не два выходила далеко за пределы собственного опыта, вспоминая обрывки давних, слышанных ею вполуха разговоров.

Розмари росла с мыслью о труде. Миссис Спирс расходовала скудные средства, оставленные ей мужьями, на образование дочери, а когда та в шестнадцать лет расцвела, – чего стоили одни только волосы, – отвезла ее в Экс-ле-Бен и без какой бы то ни было предварительной договоренности привела в номер отеля, где приходил в себя после болезни американский продюсер. И когда продюсер поехал в Нью-Йорк, они поехали с ним. Так Розмари сдала вступительный экзамен. Потом – обещавший относительный достаток успех – и этой ночью миссис Спирс сочла себя вправе тактично объяснить с дочерью:

– Ты воспитана для труда – не для одного лишь замужества. Теперь тебе подвернулся первый орешек, который придется разгрызть, и это хороший орешек – так действуй и откладывай все, что с тобой случится, в копилку твоего опыта. Сделай больно себе или ему – что бы ни случилось, оно тебя не разорит, потому что, экономически говоря, ты не девушка, а молодой мужчина.

Размышлять помногу Розмари не привыкла – разве что о безграничных достоинствах своей матери, – и потому этот окончательный обрыв пуповины лишил ее сна. Зодиакальный свет словно давил на высокие французские окна, и Розмари встала и вышла, чтобы согреть босые ступни, на террасу. Воздух пронизывали загадочные звуки; в кроне дерева, что стояло у теннисного корта, некая упорная птичка одерживала один порочный триумф за другим; с закругленной подъездной дорожки за отелем доносились чьи-то шаги, звучание которых определялось сначала пыльной дорогой, затем щебенкой, затем бетонными ступенями, а после все повторилось в обратном порядке, и шаги удалились. В далекой высоте проступала над чернильным морем черная тень холма, на котором жили Дайверы. Розмари подумала, что сейчас они там вдвоем, и словно услышала, как они все еще поют еле слышную песню, похожую на встающий в небо дым, на гимн, такой далекий от нее во времени и пространстве. Дети их спят, калитка заперта на ночь.

Она возвратилась в номер, набросила легкий халат, вставила ступни в эспадрильи и снова вышла через окно и пошла по непрерывающейся террасе к главной двери отеля – быстро, поскольку чувствовала, минуя чужие окна, наплывы истекающего из них сна. И остановилась, увидев сидевшего на широких белых ступенях парадной лестницы человека, и вскоре поняла – это Луи Кэмпиион, да еще и плачущий.

Плакал он тихо, но истово, и тело его подрагивало в точности там, где подрагивает у плачущей женщины. Розмари поневоле вспомнила сцену, сыгранную ею в прошлом году, и спустившись по ступеням, тронула его за плечо. Кэмпиион тихо взвизгнул, но тут же ее и узнал.

– Что с вами стряслось? – Взгляд Розмари был спокоен, добр и не впивался в него с жестоким любопытством. – Я могу вам помочь?

– Мне никто не может помочь. Я всегда это знал. И винить мне, кроме себя, некого. Вечно одно и то же.

– Так что случилось – вы не хотите мне рассказать?

Кэмпиион посмотрел на нее, подумал.

– Нет, – решительно произнес он. – Станете постарше, узнаете, какие страдания причиняет людям любовь. Какие муки. Лучше быть юным и холодным, чем любить. Со мной это и раньше случалось, но такого еще не бывало – такой внезапности, – а ведь как хорошо все складывалось.

Физиономия его выглядела в разгоравшемся свете кошмарно. Ни единым движением лица или малейшей мышцы она не выдала внезапно охватившего ее отвращения. Однако обладавший тонким чутьем Кэмпиион уловил его и резко сменил тему.

– Тут где-то должен быть Эйб Норт.

– Как это? Он же у Дайверов живет!

– Живет, но ему пришлось... вы разве не знаете, что случилось?

Неожиданно двумя этажами выше их распахнулась ставня и несомненно английский голос рявкнул:

– *Будьте любезны, умолкните!*

Розмари и Луи Кэмпиион покорно спустились по ступенькам и направились к скамейке, врытой на дорожке, ведущей к пляжу.

– Так вы ничего не знаете? Дорогая моя, произошло нечто из ряда вон... – Он понемногу оживлялся, готовясь сообщить сногшибательную новость. – В жизни не видел, чтобы все так вдруг... я всегда сторонился людей, склонных к насилию... встречи с ними на несколько дней укладывают меня в постель.

В глазах его уже блистало торжество. Розмари решительно не понимала, о чем он толкует.

– Дорогая моя, – выпалил он и коснулся ее бедра, сразу склонившись к ней всем телом, дабы показать, что прикосновение это не было с его стороны безответственной предприимчивостью – к Кэмпииону определенно возвращалась уверенность в себе. – Нас ожидает дуэль!

– Что-о?

– Дуэль на... на чем, пока не знаю.

– Между кем и кем?

– Давайте я вам все с самого начала расскажу. – Кэмпиион набрал полную грудь воздуха и начал таким тоном, точно виновата во всем была она, однако он готов закрыть на это глаза. – Конечно, вы ехали в другом автомобиле. Что же, в определенном смысле вам повезло... Мне это обошлось в два года жизни, самое малое, – так неожиданно все случилось.

– Да что же произошло-то? – требовательно спросила она.

– Не знаю, с чего и начать. Сначала она принялась рассказывать...

– Кто?

– Виолетта Мак-Киско, – он понизил голос, словно не желая, чтобы его услышали прятавшиеся под скамейкой люди. – Только Дайверам ни-ни, потому что каждому, кто хоть слово им скажет, он грозился...

– Кто – он?

– Томми Барбан, так что вы уж не выдавайте меня. Никто из нас не понял ни слова из того, что пыталась рассказать Виолетта, потому что он все время перебивал ее, а потом вмешался муж, и вот пожалуйста, дорогая моя, – дуэль. Нынче утром, в пять, всего час остался. –

Кэмпиион вздохнул, внезапно вспомнив о собственных горестях. – Мне почти что *хочется* оказаться на его месте. Ну убьют меня, ну и пусть, все равно моя жизнь бессмысленна.

Он умолк и принялся в печали раскачиваться взад-вперед.

Вверху снова распахнулся чугунный ставень, и английский голос потребовал:

– *Нет, ну ей-богу, прекратите сию же минуту!*

И в тот же миг из отеля вышел явно расстроенный чем-то Эйб Норт и увидел на фоне белевшего над морем неба их силуэты. Розмари, не дав ему открыть рот, предостерегающе покачала головой, все трое прошли по дорожке к следующей скамье. Только там Розмари заметила, что Эйб немного под мухой.

– А *вы-то* почему не спите? – спросил он.

– Да просто проснулась, – она чуть не засмеялась, но, вспомнив о голосе свыше, сдержалась.

– Соловей допек, – догадался Эйб и сразу поправился: – наверное. Ну что, этот распорядитель кружка кройки и шитья уже поведал вам о случившемся?

Кэмпиион с достоинством произнес:

– Я знаю только то, что слышал своими ушами.

После чего встал и торопливо удалился. Эйб остался с Розмари.

– Почему вы с ним так неласковы?

– Я? – удивился Эйб. – Да он тут полночи слезу точил.

– Ну, может быть, у него горе какое-то.

– Может быть, может быть.

– Так что за дуэль? Между кем и кем? Мне сразу показалось, что у них в машине что-то неладно. Это правда?

– Полоумие полное, но правда.

## Х

– Скандал разразился, как раз когда автомобиль Эрла Брейди проезжал мимо остановившейся у обочины машины Дайверов, – так начал Эйб свой беспристрастный рассказ об этой переполненной людьми и событиями ночи, – Виолетта Мак-Киско надумала поведать миссис Абрамс то, что она узнала о Дайверах, – поднявшись на второй этаж их дома. Виолетта увидела там нечто, сильно ее поразившее. Однако Томми неколебимо стоял на страже дайверовских интересов. Конечно, она, Виолетта, особа вздорная и опасная, но это – вопрос личного отношения к ней, Дайверы же, как целое, имели для их друзей значение куда более серьезное, чем многие из них полагали. Естественно, это требовало от друзей определенных жертв – временами Дайверы кажутся всем не более чем чарующей балетной парой, недостойной внимания, превышающего то, какое мы уделяем сцене, и все-таки в отношении к ним присутствует нечто большее – у людей, знающих их историю. Так или иначе, Томми был одним из тех, кому Дик доверил заботу о спокойствии Николь, и когда миссис Мак-Киско позволила себе намекнуть на ее прошлое, отнесся к этому неодобрительно. И сказал:

– Миссис Мак-Киско, будьте любезны, не говорите ничего о миссис Дайвер.

– Я не с вами разговариваю, – огрызнулась она.

– Я полагаю, что вам лучше оставить Дайверов в покое.

– Они что, неприкосновенны?

– Оставьте их в покое. Найдите другую тему для разговора.

Он сидел рядом с Кэмпбином, на откидном сиденье. Мне все это Кэмпбион рассказал.

– А чего это вы тут раскомандовались? – поинтересовалась Виолетта.

Сами знаете, что такое разговоры, ведущиеся поздней ночью в машине, – одни бормочут что-то, другие, изнуренные вечеринкой, их не слушают, или дремлют, или просто томятся скукой. Так вот, некоторые из тех, кто ехал в машине Дайверов, поняли, что происходит, лишь когда машина остановилась и Барбан проревел громовым, перепугавшим всех голосом, каким только кавалерию на помощь призывать:

– Если вам угодно, выйдите здесь, – до отеля не больше мили, дойдете и пешком, а нет – так я вас как-нибудь доволоку. *Заткните вашей жене рот, Мак-Киско!*

– Вы грубиян, – ответил Мак-Киско. – Знаете, что вы сильнее меня. Да только я вас не боюсь, и если бы у нас существовал дуэльный кодекс...

Вот это было его ошибкой, потому что Томми – француз как-никак – потянулся к нему и ударил его по щеке, и шофер сразу стронул машину с места. Тогда-то вы мимо них и проехали. Женщины завопили. Так они в отель и прибыли.

Томми телефонировал в Канны знакомому, подрядил его в секунданты, Мак-Киско заявил, что видеть Кэмпбиона в секундантах не желает, – да тот, собственно говоря, не очень-то и навязывался, и потому позвонил мне, ничего, правда не сказав, лишь попросив немедленно приехать. Виолетта Мак-Киско грохнулась в обморок, миссис Абрамс привела ее в чувство, оттащила в свой номер, напоила бромом и уложила в постель. Добравшись сюда, я попытался урезонить Томми, но тот и слышать ни о чем, кроме извинений, не желал, а пьяный Мак-Киско извиняться не собирался.

Когда Эйб закончил, Розмари, подумав немного, спросила:

– Дайверы знают об этом?

– Нет, и не должны узнать. Чертов Кэмпбион не имел права рассказывать вам что-либо, но раз уж рассказал... шоферу я объяснил, что, если он хотя бы рот раскроет, ему придется познакомиться с моей музыкальной пилой. Это мужская ссора, – впрочем, Томми давно уж не терпится повоевать.

– Надеюсь, Дайверы ничего и не узнают, – сказала Розмари.

Эйб посмотрел на часы.

– Я собираюсь подняться наверх, поговорить с Мак-Киско, – хотите составить мне компанию? – а то ему кажется, что у него совсем друзей не осталось. Уверен, он не спит.

Розмари представила себе отчаянное ночное бдение этого нервного, расхлябанного человека. И, поколебавшись между жалостью и неприязнью, приняла предложение Эйба и поднялась с ним, пышущая утренней бодростью, наверх.

Мак-Киско сидел на кровати, пьяноватая воинственность его испарилась, хоть он и держал в руке бокал с шампанским. Выглядел он крошечным, злым, смертельно бледным. Не приходилось сомневаться, что он всю ночь пил и писал. Растерянно взглянув на Эйба и Розмари, он спросил:

– Что, уже пора?

– Нет, еще полчаса осталось.

Стол покрывали листы писчей бумаги – длинное, не без затруднений составленное письмо; последние страницы его были исписаны крупным, но почти неразборчивым почерком. В нежном, выцветавшем свете электрических ламп Мак-Киско нацарапал внизу свое имя, запахал листы, смяв их, в конверт и протянул его Эйбу:

– Это жене.

– Вы бы сунули голову под струю холодной воды, – предложил Эйб.

– Думаете, поможет? – с сомнением спросил Мак-Киско. – Да и совсем протрезветь мне как-то не хочется.

– Ну, пока на вас и смотреть-то страшно.

Мак-Киско послушно удалился в ванную комнату.

– Я оставляю все в жутком беспорядке, – сообщил он оттуда. – Даже не знаю, как Виолетте удастся вернуться в Америку. Страховки у меня нет. Я так и не собрался обзавестись ею.

– Перестаньте глупости говорить. Через час вы будете сидеть здесь и завтракать.

– Конечно, я знаю. – Он вышел с мокрой головой из ванной комнаты и уставился на Розмари так, точно увидел ее впервые в жизни. Внезапно глаза его наполнились слезами. – И романа я не закончил. Так обидно. Я вам не нравлюсь, – сказал он Розмари, – ну да что тут поделаешь. Я человек по преимуществу литературный, – он издал какой-то вялый, унылый звук, беспомощно покачал головой. – Столько ошибок совершил в жизни – не сосчитать. А ведь был когда-то из самых выдающихся – в определенном смысле...

Тема эта утомила его, и он ее бросил и попытался затянуться погасшей сигаретой.

– Нравиться-то вы мне нравитесь, – сказала Розмари, – но я не думаю, что вам стоит драться на дуэли.

– Да, надо было отлупить его, но чего уж теперь. Я позволил втянуть себя в историю, которая мне не к лицу. У меня, знаете ли, нрав очень вспыльчивый... – Он наставил на Эйба пристальный взгляд, словно ожидая от него возражений. А затем с испуганным смешком снова поднял к губам погасший окурок. Дыхание его участилось. – Вся беда в том, что дуэль-то я сам предложил, – если бы Виолетта заткнулась, я бы все уладил. Конечно, я и сейчас могу просто-напросто уехать или сидеть здесь, смеясь над этой глупостью, да только не думаю, что Виолетта смогла бы тогда сохранить уважение ко мне.

– Конечно, смогла бы, – сказала Розмари, – еще и большее, чем сейчас.

– Нет, вы ее не знаете. Стоит дать ей преимущество перед вами, и с ней становится так трудно. Мы женаты двенадцать лет, у нас была дочь, она умерла семилетней, а после такого сами знаете, что бывает. Мы оба немного пошаливали на стороне, ничего серьезного, однако это разделяет людей, – и сегодня ночью она назвала меня трусом.

Розмари испугалась, но промолчала.

– Ладно, постараемся обойтись без серьезных последствий, – сказал Эйб и открыл принесенную им с собой кожаную шкатулку. – Вот дуэльные пистолеты Барбана, я прихватил их, чтобы вы с ними освоились. Он возит их с собой в чемодане.

Эйб взвесил архаическое оружие на ладони. Розмари испуганно вскрикнула, Мак-Киско тревожно взгляделся в пистолеты.

– Ну, хотя бы дырявить друг друга из «сорок пятого» нам не придется, – сказал он.

– Не знаю, – отозвался жестокий Эйб. – Предполагается, что чем длиннее дуло, тем вернее прицел.

– А что насчет расстояния? – спросил Мак-Киско.

– Я тоже этим поинтересовался. Если одна из сторон желает смерти другой, они стреляются на восьми шагах, если готова довольствоваться простой раной – на двадцати, ну а когда дело идет лишь о защите чести – на сорока. Я с его секундантом о сорока и договорился.

– Это хорошо.

– В романе Пушкина, – припомнил Эйб, – описана замечательная дуэль. Противники стояли на краю пропасти, и если один попадал в другого, тому неминуемо приходил конец.

Мак-Киско это определенно показалось слишком несовременным и умозрительным – он вытаращил глаза и переспросил:

– Как это?

– Вы не хотите окунуться в море, освежиться немного?

– Нет... нет, я и плавать-то как следует не умею. – Мак-Киско вздохнул и беспомощно признался: – Не понимаю, к чему все это. И почему я в это влез.

То был первый по-настоящему серьезный поступок его жизни. В сущности, Мак-Киско принадлежал к тем, для кого чувственного мира попросту не существует, и, столкнувшись лицом к лицу с конкретным его проявлением, он испытал непомерное удивление.

– В общем-то, пора идти, – сказал Эйб, поняв, что Мак-Киско совсем раскис.

– Ладно, – тот глотнул из фляжки, сунул ее в карман и спросил не без свирепости: – А что будет, если я его убью, – меня в тюрьму посадят?

– Я помогу вам бежать через итальянскую границу.

Мак-Киско взглянул в лицо Розмари и, словно извиняясь, сказал Эйбу:

– Перед тем как мы поедем, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.

– Надеюсь, никто из вас не пострадает, – сказала Розмари. – По-моему, вы совершаете страшную глупость – постарайтесь все-таки обойтись без нее.

## XI

Внизу, в пустом вестибюле, она увидела Кэмпиона.

– Я заметил, вы наверх поднимались! – возбужденно воскликнул он. – Как там? Когда дуэль?

– Не знаю.

Ей не понравилось, что Кэмпион говорит о дуэли как о цирковом представлении с Мак-Киско в роли печального клоуна.

– Поедете со мной? – спросил он тоном человека, предлагающего хорошие места в партере. – Я нанял отельную машину.

– Нет, не хочу.

– Почему? Думаю, мне это обойдется в несколько лет жизни, но я не обменял бы такое событие ни на какие рассказы о нем. Мы на все издали посмотрим.

– Возьмите с собой Дамфри.

Монокль выпал из глазницы Кэмпиона, и, поскольку усы, в которых могло бы укрыться стеклышко, на сей раз отсутствовали, Кэмпион вернул его назад.

– Я его знать больше не желаю.

– Что же, боюсь, я с вами поехать не смогу. Это не понравится маме.

Как только Розмари вошла в свою спальню, миссис Спирс повернулась в постели и окликнула ее:

– Ты где была?

– Не смогла заснуть. Спи, мама.

– Иди сюда.

Розмари, услышав, как она садится, вошла в ее спальню и рассказала о том, что происходит.

– Почему бы тебе я вправду не поехать не посмотреть? – спросила миссис Спирс. – Близко к ним тебе подходить не придется, но ведь после кому-то может потребоваться твоя помощь.

Розмари представила себя в роли зрительницы, картина эта не понравилась ей, она попыталась возразить матери, однако сознание миссис Спирс было еще затуманено сном, к тому же она хорошо помнила пору, когда была женой врача, и помнила, как мужа вызывали ночами к умирающим и к людям, попавшим в беду.

– Нужно, чтобы ты сама решала, куда тебе пойти и как поступить, а обо мне не думала, – к тому же, снимаясь у Рэйни в рекламе, ты делала вещи и потруднее.

Розмари все равно не понимала, зачем ей ехать на место дуэли, но подчинилась уверенному, ясному голосу, который когда-то направил ее, двенадцатилетнюю, в служебную дверь парижского «Одеона», а после встретил у той же двери.

Выйдя на крыльцо отеля, она увидела увозившую Эйба и Мак-Киско машину и решила, что ей все же удалось отвертеться, но тут из-за угла показалась вторая. Упоенно попискивая, Луи Кэмпион втянул Розмари в дверцу и усадил рядом с собой.

– Я спрятался там, потому что они могли запретить нам ехать за ними. Видите, я даже кинокамеру прихватил.

Розмари беспомощно усмехнулась. Он был ужасен настолько, что уже и ужасным-то не казался, а просто не походил на человека.

– Интересно, почему миссис Мак-Киско не любит Дайверов? – спросила она. – Они были с ней так любезны.

– Дело не в этом. Она что-то увидела. Но что именно, мы из-за Барбана так и не узнали.

– А, выходит, вас огорчил не ее рассказ.

– О нет, – дрогнувшим голосом ответил Кэмпиион, – просто когда мы вернулись в отель, произошло кое-что еще. Но теперь мне все равно – я умыл руки, раз и навсегда.

Они ехали за первым, шедшим вдоль моря автомобилем на восток и миновали Жуан-ле-Пен, посреди которого подрастал скелет нового казино. Был уже пятый час, под голубовато-серым небом, тарахтя, уходили в серовато-зеленое море первые рыбацьи лодки. И вот передняя машина свернула от моря в глубь безлюдной местности.

– Поле для гольфа! – воскликнул Кэмпиион. – Я так и знал.

Он был прав. Когда машина Эйба остановилась, небо на востоке уже окрасилось в обещающие знойный день красные с желтым тона. Велев водителю заехать в сосновую рощу, Кэмпиион и Розмари обогнули, не покидая ее, выцветшее гладкое поле, по которому прохаживались вперед-назад Эйб с Мак-Киско, – последний время от времени вздергивал кверху голову, точно принимающий кролик. В конце концов у дальней лунки показались двое, в которых наблюдатели признали Барбана и его французского секунданта – последний нес под мышкой футляр для пистолетов.

Вмиг оробев, Мак-Киско отступил за спину Эйба и надолго приложился к горлышку фляжки. Потом обогнул, закашлявшись, Эйба и направился напрямик к противникам, однако Эйб остановил его и пошел к ним сам, чтобы переговорить с французом. Солнце уже поднялось над горизонтом.

Кэмпиион вцепился в руку Розмари.

– Не могу, – почти неслышно проскулил он. – Это уже слишком. Это обойдется мне в...

– Пустите, – бесцеремонно приказала Розмари. И зашептала по-французски отчаянную молитву.

Дуэлянты стояли лицом к лицу, правый рукав рубашки Барбана был засучен. Глаза его тревожно поблескивали под солнцем, но движение, которым он вытер о штанину ладонь, было неторопливым. Мак-Киско, которого бренди обратило в бесшабашного храбреца, сложил губы так, точно надумал посвистеть, и стоял, равнодушно задрав длинный нос в небо, пока к нему не вернулся с носовым платком в руке Эйб. Француз глядел в сторону. Розмари затаила дыхание и стиснула зубы, ей было страшно жалко Мак-Киско, а Барбана она ненавидела.

– Один – два – три! – звенящим голосом отсчитал Эйб.

Они выстрелили одновременно. Мак-Киско покачнулся, но устоял. Оба промахнулись.

– Все, довольно! – крикнул Эйб.

Участники дуэли сошлись в кучку, все вопросительно смотрели на Барбана.

– Я не считаю себя удовлетворенным.

– Что? – нетерпеливо спросил Эйб. – Разумеется, вы удовлетворены. Просто еще не поняли это.

– Ваш подопечный не желает стреляться дальше?

– Вы дьявольски правы, Томми. Вы настаивали на дуэли, мой клиент пошел вам навстречу.

Томми презрительно усмехнулся.

– Расстояние было просто нелепым, – сказал он. – Я непривычен к подобным фарсам, а вашему клиенту следует помнить, что он не в Америке.

– Америка тут решительно ни при чем, – резко ответил Эйб. И добавил примирительно: – Все это зашло слишком далеко, Томми.

Последовали недолгие переговоры, затем Барбан кивнул Эйбу и холодно поклонился своему недавнему противнику.

– Пожимать друг другу руки они не будут? – спросил француз.

– Они уже знакомы, – ответил Эйб. И сказал Мак-Киско: – Пошли, пора возвращаться.

Они повернулись к машине Эйба, и Мак-Киско, внезапно возликовав, схватил его за руку.

– Минуту! – спохватился Эйб. – Нужно вернуть пистолет Томми. Вдруг он ему снова понадобится.

Мак-Киско протянул Эйбу пистолет и грубо сказал:

– Черт с ним. Скажите ему, что он может...

– Сказать, что вы хотите продолжить дуэль?

– Нет уж, хватит, – выкрикнул Мак-Киско. – Я и так хорошо себя показал, верно? Не струсил.

– Вы были здорово пьяны, – напрямик сказал Эйб.

– Ничего подобного.

– Ну, ничего так ничего.

– Да и какая разница – был, не был?

Самоуверенности в нем все прибавлялось, и на Эйба он смотрел уже возмущенно.

– Какая разница? – повторил он.

– Если вы ее не видите, не о чем и говорить.

– Вы разве не знаете, что во время войны вообще никто не просыхал?

– Ладно, оставим это.

Однако эпизод еще не завершился. Услышав нагоняющие их поспешные шаги, они обернулись и увидели врача.

– *Pardon, Messieurs*, – отдуваясь, произнес он. – *Voulez-vous régler mes honoraires? Naturellement c'est pour soins médicaux seulement. M. Barban n'a qu'un billet de mille et ne peut pas les régler et l'autre a laissé son porte-monnaie chez lui*<sup>12</sup>.

– Вот в чем на француза всегда можно положиться, – сказал Эйб и затем доктору: – *Combien?*<sup>13</sup>

– Давайте я заплачу, – предложил Мак-Киско.

– Нет-нет, я при деньгах. А опасности мы все подвергались одинаковой.

Эйб расплатился с врачом, а Мак-Киско тем временем метнулся в кусты, и там его вырвало. После чего он, побледневший еще пуще прежнего, засемянил сквозь розовеющий утренний воздух вслед за Эйбом к машине.

Кэмпиион, отдуваясь, лежал навзничь в зарослях – единственная жертва дуэли, – а Розмари, на которую вдруг напал истерический смех, пинала и пинала его обутой в эспадрилью ступней. Она не остановилась, пока Кэмпиион не поднялся на ноги, – сейчас для нее было важным только одно: пройдет несколько часов, и она увидит на пляже человека, которого все еще называла про себя «Дайверами».

---

<sup>12</sup> Прошу прощения, господа. Не могу ли я получить мой гонорар? Натурально, лишь за медицинскую помощь. Господин Барбан рассчитаться не может, у него с собой только купюра в тысячу франков, а другой господин оставил бумажник дома (фр.).

<sup>13</sup> Сколько? (фр.).

## XII

Ожидая Николь, они сидели вшестером в «Вуазене»: Розмари, Норты, Дик Дайвер и двое молодых французских музыкантов. Сидели и вглядывались в других посетителей ресторана, пытаясь определить, владеют ли те умением непринужденно вести себя на людях. Дик заявил, что ни одному американцу, кроме него, такое не присуще, вот они и искали пример, опровергающий это утверждение. Пока что положение их казалось безнадежным – никто из входивших в ресторан не выдерживал и десяти минут без того, чтобы не поднять руку к лицу.

– Не стоило нам отказываться от навощенных усов, – сказал Эйб. – Конечно, Дик не *единственный* раскованный человек...

– Разумеется, единственный.

– ...но, возможно, он единственный, кто бывает таким в трезвом виде.

Вошел хорошо одетый американец с двумя женщинами, – мигом усевшись за столик, они непринужденно и естественно заозирались по сторонам. Американец же внезапно заметил, что за ним наблюдают, и рука его судорожно дернулась вверх, дабы разгладить несуществующую складку на галстуке. В другой компании, стоявшей в ожидании столика, присутствовал мужчина, непрерывно похлопывавший себя ладонью по гладко выбритой щеке, а его собеседник то и дело машинально поднимал ко рту и опускал наполовину выкуренную, погасшую сигару. Одни, более удачливые, поправляли очки или теребили свою лицевую растительность, другие же, лишенные и тех и другой, проводили пальцами по своим безусым губам, а то и безнадежно подергивали себя за мочки ушей.

Появился прославленный генерал, и Эйб, положившись на первый год, проведенный стариком в Вест-Пойнте, – год, до истечения которого ни один кадет не вправе подать в отставку и от которого никто из них никогда не оправляется, – предложил Дикю пари на пять долларов.

Генерал стоял, ожидая, когда для него отыщут место, руки его свободно свисали по сторонам тела. Неожиданно он отвел их назад, словно собираясь прыгнуть в воду, и Дик сказал: «Ага!», полагая, что генерал утратил самообладание, однако тот мигом пришел в себя, и все снова затаили дыхание – впрочем, мучения их подходили к концу, гарсон уже отодвигал для генерала кресло...

И тут старого воина что-то прогневало, и правая рука его взлетела вверх, чтобы проехаться по безупречно подстриженной седой голове.

– Вот видите, – самодовольно произнес Дик. – Я – единственный.

Собственно говоря, Розмари в этом и не сомневалась. Дик, понимавший, что лучшей аудитории у него никогда не было, так веселил их компанию, что Розмари проникалась нетерпеливым неуважением ко всем, кто не сидел за их столиком. Они провели в Париже два дня, но мысленно так и остались под пляжным зонтом. Когда, как прошлой ночью, на балу в Пажеском корпусе, происходившее вокруг начинало пугать Розмари, которой только еще предстояло побывать на голливудском «Мэйферовском приеме», Дик приводил ее в чувство, начиная здороваться с окружающими, – не без разбора, ибо круг знакомых был у Дайверов, по всему судя, обширный. неизменно оказывалось, что человек, к которому Дик обращался, не видел их невесть какое долгое время и встреча с ними его бесконечно радовала: «Бог ты мой, где же вы *прятались?*» – после чего Дайвер возвращался, восстанавливая ее единство, к своей компании, мягко, но навсегда отваживая каким-нибудь ироническим *coup de grâce*<sup>14</sup> пытавшихся пролезть в нее чужаков. И Розмари начинало казаться, что она знала этих чужаков в каком-то достойном сожаления прошлом, но, сойдясь с ними поближе, отвергла их, сбросила со счетов.

---

<sup>14</sup> Смертельный, решающий удар (*фр.*).

Компания была поразительно американской, а временами и вовсе не американской. Дик возвращал тем, кто входил в нее, их самих, прежних, еще не замаранных многолетними компромиссами.

Николь появилась в темном, дымном, пропахшем расставленной по буфетной стойке жирной сырой едой ресторане, похожая в ее небесно-голубом костюме на заблудившийся кусочек стоявшей снаружи погоды. Поняв по глазам ожидавших ее, что она прекрасна, Николь поблагодарила их лучезарной улыбкой признательности. Поначалу они были очень милы, обходительны и все такое. Затем это их утомило, и они стали забавно язвительными, а устав и от этого, принялись строить планы, множество планов. Они смеялись над чем-то (и не могли потом точно вспомнить, над чем) – смеялись долго, мужчины успели прикончить три бутылки вина. Троица сидевших за столом женщин представляла великие и вечные изменения американской жизни. Николь приходилась внучкой и поднявшемуся из низов американскому капиталисту, и графу из рода Липпе-Вайссенфельд. Мэри Норт была дочерью мастера-обойщика, но среди ее предков числился и президент Тайлер. Розмари, происходившую из самой середины среднего класса, забросила на никем пока не исследованные вершины Голливуда ее мать. Их сходство друг с дружкой и отличие от столь многих женщин Америки состояло в том, что они были счастливы жить в мире, созданном мужчинами, – каждая сберегала свою индивидуальность с помощью мужчины, а не в противоборстве с ними. Каждая могла стать и прекрасной куртизанкой, и прекрасной женой – и не по случайности рождения, а по случайности еще большей: вследствие встречи или невстречи – со своим мужчиной.

Итак, Розмари находила приятным и это общество, и этот завтрак, тем более что людей за столом было семеро, а это – почти предельный размер хорошей компании. Возможно, и то, что она была человеком в их мире новым, действовало на них как катализатор, помогавший отбросить давние сомнения, питаемые ими насчет друг друга. Когда все поднялись из-за стола, гарсон направил Розмари в темное нутро, имеющееся у каждого французского ресторана; там она полистала под тусклой оранжевой лампочкой телефонную книгу и позвонила в компанию «Франко-американские фильмы». Да, конечно, у них имеется копия «Папенькиной дочки» – сейчас она на руках, но под конец недели они смогут устроить для нее просмотр на улице Святых Ангелов, дом 341, – ей нужно будет спросить мистера Краудера.

Накрывавший телефон колпак висел, собственно говоря, на тыльной стене гардероба, и, повесив трубку, Розмари услышала футах в пяти от себя, за рядом плащей на плечиках, два негромких голоса.

– ...так ты любишь меня?

– О да!

Это была Николь. Розмари замерла под колпаком, не решаясь выйти, – и тут прозвучал голос Дика:

– Я так хочу тебя – поедem сейчас в отель.

Николь тихо, прерывисто вздохнула. Смысл этих слов дошел до Розмари не сразу, но хватило и интонации, от бесконечной доверительности которой ее проняла дрожь.

– Хочу тебя.

– Я вернусь в отель к четырем.

Розмари стояла не дыша, слушая удалявшиеся голоса. Поначалу она даже изумилась, ибо считала Дайверов – в том, что касалось их отношений друг с другом, – людьми, лишенными личных потребностей, может быть, даже холодными. Потом ее окатил мощный поток эмоций, сложных, но неуяснимых. Она не понимала, влекли ее произнесенные Диком слова или отталкивали, понимала лишь, что задела за живое, и сильно. Возвращаясь в зал ресторана, она ощущала страшное одиночество, и все же вернуться туда следовало, в голове ее словно звучало эхо страстной благодарности, с которой Николь произнесла: «О да!» Точный настрой разговора, свидетельницей которого она стала, ей только еще предстояло уразуметь, однако, сколь

ни далека от него была Розмари, сама душа ее говорила, что ничего дурного в нем нет, – она не испытывала отвращения, нападавшего на нее, когда ей приходилось разыгрывать на съемках некоторые любовные сцены.

Далека или не далека, однако она стала участницей происходившего, и этого уже не отменишь, и переходя с Николь из магазина в магазин, Розмари думала о назначенном свидании куда больше, чем сама Николь. Теперь Розмари смотрела на нее другими глазами, оценивала ее прелести заново. Конечно, Николь была самой привлекательной женщиной, какую Розмари когда-либо знала, – с ее твердостью, преданностью и верностью, с некоторой уклончивостью, которую Розмари, унаследовавшая от матери представления среднего класса, связывала с отношением Николь к деньгам. Сама Розмари тратила деньги, которые заработала, – она и в Европе то оказалась потому, что в тот январский день шесть раз бросалась в бассейн, пока температура ее ползала от утренних 99° до 103°, на которых мама прервала это занятие.

С помощью Николь она купила на эти деньги два платья, две шляпки и четыре пары туфелек. Николь производила покупки, заглядывая в длинный, занимавший два листа бумаги список – впрочем, она не отказывала себе и в том, что попадалось ей на глаза в витринах. Нравившиеся, но не нужные ей вещи она покупала в подарок кому-нибудь из друзей. Она купила цветные бусы, складные пляжные матрасики, искусственные цветы, мед, кровать для гостей, сумки, шарфы, попугаев-неразлучников, утварь для кукольного домика и три ярда новой ткани креветочного цвета. Купила дюжину купальных костюмов, каучукового аллигатора, дорожные шахматы из золота и слоновой кости, большие льняные носовые платки для Эйба, два замшевых жакета от «Эрме» – один синий, как зимородок, другой цвета неопалимой купины, – все это приобреталось отнюдь не так, как приобретает белье и драгоценности куртизанка высокого полета, для которой они суть профессиональная экипировка и страховка на будущее, но из соображений совершенно иных. Николь была продуктом высокой изобретательности и тяжелого труда. Это для нее поезда, выходя из Чикаго, прорезали округлое чрево континента, чтобы попасть в Калифорнию; дымили фабрики жевательной резинки, и все длиннее становились конвейеры; рабочие смешивали в чанах зубную пасту и разливали по медным бочкам зубной эликсир; девушки быстро раскладывали в августе помидоры по консервным банкам, а в канун Рождества переругивались с покупателями в дешевых магазинах; метисы надрывались на бразильских кофейных плантациях, а изобретатели, пробившись в патентные бюро, узнавали, что их придумки уже использованы в новых тракторах, – и это были лишь немногие из тех, кого Николь облагала оброком: вся система, продвигаясь, шатко и с грохотом, вперед, давала Николь возможность лихорадочно предаваться таким ее обыкновениям, как залихватские закупки, и лицо ее румянилось от прилива крови – совсем как у пожарника, не покидающего свой пост, хоть на него и наползает стена огня. Она была иллюстрацией очень простых принципов, в самой себе содержащей свою роковую судьбу, и иллюстрацией настолько точной, что в исполняемой ею процедуре ощущалась грация, и Розмари решила попробовать когда-нибудь повторить ее.

Было почти четыре. Николь стояла с попугайчиком на плече посреди магазина – на нее напала, что случалось не часто, говорливость.

– Ну, а что было бы, не ныряй вы тогда в бассейн? Я иногда размышляю о подобных вещах. Знаете, перед самой войной – и перед самой смертью мамы – мы приехали в Берлин, мне было тогда тринадцать. Сестра собиралась на бал при Дворе, в ее бальной книжечке значились имена трех наследных принцев, это ей гофмейстер устроил. За полчаса до поездки туда у нее сильно закололо в боку, подскочила температура. Доктор сказал, что это аппендицит, что ей нужна операция. Но у мамы были свои планы: Бэйби, так зовут мою сестру, привязали под вечернее платье пузырь со льдом, и она отправилась на бал и протанцевала до двух. А в семь утра ее прооперировали.

Выходит, жестоким быть хорошо; все приятные люди жестоки к себе. Но уже пробило четыре, и Розмари все думала о Дике, ожидающем Николь в отеле. Она должна ехать туда, не должна заставлять его ждать. «Ну почему ты не едешь?» – думала Розмари, а затем вдруг: «Если тебе не хочется, давай я поеду». Однако Николь зашла еще в один магазин, чтобы купить им обоим по лифчику и отправить один Мэри Норт. И лишь выйдя оттуда на улицу, похоже, вспомнила – лицо ее приобрело отрешенное выражение, и она помахала рукой, призывая такси.

– До свидания, – сказала Николь. – Хорошо погуляли, правда?

– Замечательно, – ответила Розмари. Это далось ей труднее, чем она думала, все в ней протестовало, пока она смотрела, как уезжает Николь.

### XIII

Дик обогнул поперечный траверс и пошел по дощатому настилу траншеи. Дойдя до перископа, на миг припал к окуляру, затем встал на стрелковую приступку и заглянул поверх бруствера. Перед ним простирался под тусклым небом Бомон-Амель, слева вставала страшная высота Типваль. Дик оглядел их через полевой бинокль, и горло его сжала печаль.

Пройдя до конца окопа, он присоединился к своим спутникам, ожидавшим его у следующего траверса. Дика переполняло волнение и желание поделиться им с другими, рассказать, что здесь происходило, даром что сам-то он в боях не участвовал – в отличие от Эйба Норта.

– В то лето каждый фут этой земли стоил жизни двадцати солдатам, – сказал он Розмари. Та послушно окинула взглядом голую равнину с невысокими шестилетними деревьями. Добавь Дик, что они находятся под артиллерийским обстрелом, она поверила бы ему. Любовь Розмари достигла той грани, за которой она наконец почувствовала, что несчастна, что ее одолевает отчаяние. И что ей теперь делать, не знала, – очень хотелось поговорить с матерью.

– С того времени умерли многие, да и мы скоро там будем, – сообщил всем в утешение Эйб.

Розмари с нетерпением ожидала ответа Дика.

– Видите тот ручеек? Мы могли бы дойти до него минуты за две. А британцы проделали этот путь за месяц, – вся империя медленно продвигалась вперед, передовые бойцы гибли, и на их место проталкивали сзади новых. А еще одна империя очень медленно отступала на несколько дюймов в день, оставляя убитых, обретших сходство с грудami окровавленных тряпок. Ни один европеец нашего поколения никогда больше не пойдет на это.

– Да они только что закончили с этим в Турции, – сказал Эйб. – А в Марокко...

– Там другое. Происходившее на Западном фронте повторить невозможно, во всяком случае, на долгое время. Молодые люди полагают, что у них это получится, – но нет. Они еще смогли бы сражаться в первой битве на Марне, но не в этой. Для *этой* требуется вера в Бога, долгие годы изобилия и огромной уверенности в будущем, строго определенные отношения между классами. Русские и итальянцы ничем на этом фронте не блеснули. Человеку требовалась тут благородная сентиментальная оснастка, корни которой уходили в незапамятные времена. Он должен был помнить празднования Рождества, почтовые открытки с изображением наследного принца и его нареченной, маленькие кафе Валанса и пивные под открытым небом на Унтер-ден-Линден, и обручения в мэрии, и поездки в Дерби, и бакенбарды своего дедушки.

– Сражения такого рода придумал еще генерал Грант – под Питерсбергом, в шестьдесят пятом.

– Нет, не он, Грант додумался всего лишь до массовой бойни. А такого рода сражения придумали Льюис Кэрролл, и Жюль Верн, и автор «Ундины», и игравшие в кегли сельские священники, и марсельские кумушки, и девушки, которых совращали в тихих проулках Вюртемберга и Вестфалии. Помилуйте, тут состоялась битва любви – средний класс оставил здесь столетие своей любви. И это была последняя такая битва.

– Вы норовите всучить командование здешним сражением Д. Г. Лоуренсу, – заметил Эйб.

– Весь мой прекрасный, любимый, надежный мир взлетел здесь на воздух при взрыве бризантной любви, – скорбно стоял на своем Дик. – Не правда ли, Розмари?

– Не знаю, – хмуро ответила она. – Это вы у нас все знаете.

Они немного отстали от остальных. Внезапно на головы их градом осыпались комья земли и камушки, а из следующего окопа донесся крик Эйба:

– Я снова проникся воинственным духом. Век любви штата Огайо стоит за моей спиной, и я намерен разбомбить ваш окоп.

Голова его высунулась из-за насыпи:

– Вы что, правил не знаете? Вы убиты, подорвались на гранате.

Розмари рассмеялась, Дик сгреб с земли ответную горсть камушков, но затем высыпал их из ладони.

– Я не могу шутить здесь, – сказал он почти извиняющимся тоном. – Порвалась серебряная цепочка, и у источника разбился золотой кувшин<sup>15</sup>, и все такое, однако старый романтик вроде меня ничего с этим поделать не может.

– Я тоже романтик.

Они выбрались из старательно восстановленной траншеи и увидели перед собой мемориал Ньюфаундлендского полка. Прочитав надпись на нем, Розмари залилась слезами. Подобно большинству женщин, Розмари любила, когда ей объясняли, что она должна чувствовать, любила, чтобы Дик указывал ей, что смешно, а что печально. Но сильнее всего ей хотелось, чтобы он понял, как она любит его, – понял сейчас, когда само существование этой любви лишало ее душевного равновесия, когда она шла, словно в берущем за сердце сне, по полю боя.

Дойдя до машины, все усадились в нее и поехали обратно в Амьен. Скучный теплый дождик сеялся на молодые низкорослые деревца, на подрост между ними, за окнами проплывали огромные погребальные костры, сложенные из неразорвавшихся снарядов, мин, бомб, гранат и амуниции – касок, штыков, винтовочных прикладов, кожи, шесть лет гнившей в земле. Неожиданно за поворотом показались белые верхушки бескрайнего моря могил. Дик попросил шофера остановиться.

– Гляньте, все та же девушка – и все еще с венком.

Они смотрели, как Дик вылезает из машины, подходит к девушке, растерянно стоявшей с венком в руках у ворот кладбища. Ее ждало такси. С этой рыженькой уроженкой Теннесси они познакомились утром в поезде, она приехала из Ноксвилла, чтобы положить венок на могилу брата. Теперь по ее лицу бежали слезы досады.

– Похоже, Военное министерство дало мне неправильный номер, – тоненько пожаловалась она. – На том надгробье другое имя стоит. Я с двух часов искала, искала, но тут столько могил.

– Я бы на вашем месте просто положил венок на любую могилу, а на имя и смотреть не стал, – посоветовал ей Дик.

– Считаете, мне так поступить следует?

– Думаю, ваш брат это одобрил бы.

Уже темнело, дождь усиливался. Девушка опустила венок на первую же за воротами могилу и приняла предложение Дика отпустить такси и вернуться в Амьен с ними.

Розмари, услышав о ее злоключении, расплакалась снова – вообще, день получился каким-то мокроватым, и все же она чувствовала, что узнала нечто важное, хоть и не смогла бы сказать что. Впоследствии все послеполуденные часы вспоминались ею как счастливые, как один из тех, не отмеченных никакими событиями промежутков времени, что кажутся, пока их проживаешь, лишь связующим звеном между прошлым и будущим счастьем, а позже понимаешь: как раз они-то счастьем и были.

Амьен еще оставался в ту пору городком лиловатым и гулким, по-прежнему опечаленным войной, – какими были и некоторые железнодорожные вокзалы: парижский *Gare du Nord*<sup>16</sup>, лондонский Ватерлоо. В дневное время подобные города с их маленькими, прослужившими два десятка лет трамваями, пересекавшими огромные, мощенные серым камнем площади перед кафедральными соборами, как-то придавливали человека, сама погода казалась в них состарившейся и выцветшей, точно давние фотографии. Однако при наступлении темноты

---

<sup>15</sup> «...доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем» (Екклезиаст, 12:6).

<sup>16</sup> Северный вокзал (фр.).

картина пополнялась возвратом всего, чем может порадовать французская жизнь, – бойкими уличными девицами, мужчинами, о чем-то спорившими в кафе, пересыпая свою речь сотнями «*Voilà*»<sup>17</sup>, парочками, медленно уходившими, щека к щеке, в недорогое никуда. Ожидая поезда, вся компания сидела в большом пассаже, достаточно высоком, чтобы утягивать вверх табачный дым, болтовню и музыку, и оркестрик услужливо исполнил «Да, бананов у нас нет», и они поаплодировали – уж больно довольным собой выглядел дирижер. Теннессию забыла о своих печалях и от души радовалась жизни, она даже принялась флиртовать с Эйбом и Диком, страстно округляя глаза, похлопывая то одного, то другого по плечам. А они ласково поддразнивали ее.

Потом они погрузились в парижский поезд, оставив бесконечно малые частицы вюртембергцев, прусских гвардейцев, альпийских стрелков, манчестерских пролетариев и старых итонцев продолжать их вечный неторопливый распад под теплыми струями дождя. Они жевали купленные в вокзальном ресторане бутерброды с сыром «Бель паэзе» и болонской колбасой, пили «Божоле». Николь казалась рассеянной, беспокойно покусывала нижнюю губу, читала купленные Диком путеводители по полю сражения – собственно, он и сам успел быстро просмотреть эти брошюры с начала и до конца, упрощая и упрощая прочитанное, пока оно не приобрело легкое сходство с одним из его званых обедов.

---

<sup>17</sup> Ну вот! Вот так! (*фр.*)

## XIV

Когда они добрались до Парижа, выяснилось, что Николь слишком устала для запланированного ими осмотра ночной иллюминации Выставки декоративного искусства. Они довели ее до отеля «Король Георг», и когда она исчезла за пересекающимися плоскостями, в которые освещение вестибюля обращало его стеклянные двери, подавленность Розмари как рукой сняло. Николь представляла собой силу – и в отличие от матери Розмари, далеко не благожелательную или предсказуемую, совсем наоборот. Розмари немного побаивалась ее.

В одиннадцать часов вечера она сидела с Диком и Нортами в кафе, недавно открывшемся на причаленной к набережной Сены барке. В воде мерцали огни мостов, покачивалась холодная луна. В пору их парижской жизни Розмари и ее мать иногда покупали по воскресеньям билеты на ходивший в Сюрен пароходик и плыли по Сене, обсуждая планы на будущее. Денег у них было мало, но миссис Спирс настолько верила в красоту Розмари, взлелеяла в ней такое честолюбие, что готова была поставить на «победу» дочери все, что имела; а Розмари в свой черед предстояло, как только у нее что-то начнет получаться, возместить все расходы матери...

Едва вернувшись в Париж, Эйб Норт стал словно бы окутываться винными парами; глаза его покраснели от солнца и спиртного. Розмари впервые сообразила, что он не упускает ни единой возможности зайти куда-нибудь и выпить, – интересно, думала она, как относится к этому Мэри Норт? Мэри была женщиной неразговорчивой, разве что смеялась часто, – столь неразговорчивой, что Розмари почти ничего в ней не поняла. Розмари нравились ее прямые темные волосы, зачесанные назад и спускавшиеся с макушки своего рода естественным каскадом, не доставляя ей особых забот, – лишь время от времени прядь их спадала, косо и щеголевато, на краешек лба Мэри, почти закрывая глаз, и тогда она встряхивала головой, возвращая эту прядь на место.

– Давай сегодня ляжем пораньше, Эйб, выпьем еще по бокалу, и будет, – тон Мэри был легким, но в нем ощущался оттенок тревоги. – Ты же не хочешь, чтобы тебя перекачивали в трюм парохода.

– Час уже поздний, – сказал Дик. – Пора расходиться.

Исполненное благородного достоинства лицо Эйба приняло упрямый вид, он решительно заявил:

– О нет. – Величавая пауза, затем: – Пока что нет. Выпьем еще одну бутылку шампанского.

– С меня довольно, – сказал Дик.

– Я о Розмари забочусь. Она прирожденная выпивоха, держит в ванной комнате бутылку джина и все такое, мне ее мать рассказывала.

Он вылил в бокал Розмари все, что оставалось в бутылке. В первый их парижский день она опилась лимонада, ее тошнило, и после этого она не пила ничего, однако теперь поднесла бокал к губам и пригубила шампанское.

– Это еще что такое? – удивился Дик. – Вы же говорили мне, что не пьете.

– Но не говорила, что и не буду никогда.

– А что скажет ваша мать?

– Я собираюсь выпить всего один бокал. – Это казалось ей необходимым. Дик пил немного, но пил, быть может, выпитое ею шампанское сблизит их, поможет ей справиться с тем, что она должна сделать. Розмари быстро глотнула еще, поперхнулась и сказала: – А кроме того, вчера был день моего рождения – мне исполнилось восемнадцать лет.

– Что же вы нам-то не сказали? – в один голос возмущенно спросили они.

– Знала, что вы поднимете шум, засуетитесь, а к чему вам лишние хлопоты? – Она допила шампанское. – Будем считать, что мы отпраздновали сейчас.

– Ни в коем случае, – заявил Дик. – Завтра вечером мы устроим в честь вашего дня рождения обед, чтобы вам было что вспомнить. Восемнадцатилетие – помилуйте, такая важная дата.

– Мне всегда казалось, что все происходящее до восемнадцати не имеет никакого значения, – сказала Мэри.

– Правильно казалось, – согласился Эйб. – И все происходящее после тоже.

– По мнению Эйба, ничто не будет иметь значения, пока мы не отправимся домой, – сказала Мэри. – На сей раз он всерьез спланировал то, что будет делать в Нью-Йорке.

Мэри говорила тоном человека, уставшего рассказывать о том, что давно утратило для него всякий смысл, таким, словно в действительности путь, по которому шли – или не сумели пойти – она и ее муж, давно уже обратился всего лишь в благое намерение.

– В Америке он станет писать музыку, а я поеду в Мюнхен учиться пению, и когда мы встретимся снова, нам все будет по плечу.

– Замечательно, – согласилась Розмари, чувствуя, как выпитое ударяет ей в голову.

– А пока пусть Розмари выпьет еще немного шампанского. Это поможет ей понять, как работают ее лимфатические узлы. Они только в восемнадцать лет и включаются.

Дик снисходительно усмехнулся, он любил Эйба, хоть давно уже перестал возлагать на него какие-либо надежды:

– Медицина так не считает, и потому мы уходим.

Эйб, уловив его снисходительность, быстро заметил:

– Мне почему-то кажется, что я отдам мою новую партитуру Бродвею задолго до того, как вы закончите ваш ученый трактат.

– Надеюсь, – бесстрастно ответил Дик. – Очень на это надеюсь. Может быть, я и вовсе откажусь от того, что вы именуете моим «ученым трактатом».

– О, Дик! – испуганно и даже потрясенно воскликнула Мэри. Розмари никогда еще не видела у него такого лица – полностью лишённого выражения; она поняла, что сказанное им исключительно важно, и ей тоже захотелось воскликнуть: «О, Дик!»

Но он вдруг усмехнулся еще раз и прибавил:

– ...откажусь от этого, чтобы заняться другим, – и встал из-за стола.

– Пожалуйста, Дик, сядьте. Я хочу узнать...

– Как-нибудь расскажу. Спокойной ночи, Эйб. Спокойной ночи, Мэри.

– Спокойной ночи, Дик, милый.

Мэри улыбнулась, словно давая понять, что с превеликим удовольствием остается сидеть здесь, на почти опустевшей барке. Она была храброй, отнюдь не лишившейся надежд женщиной и следовала за своим мужем повсюду, обращаясь внутренне то к одному, то к другому человеку, но не обретая способности заставить его отступить хотя бы на шаг от избранного им пути и временами с унынием осознавая, как глубоко упрятана в нем истово охраняемая тайна этого пути, по которому приходится следовать и ей. И все же ореол удачливости облекал ее – так, точно она была своего рода талисманом...

## XV

– Так от чего вы решили отказаться? – уже в такси серьезно спросила Розмари.

– Ни от чего существенного.

– Вы ученый?

– Я врач.

– О-о! – она восхищенно улыбнулась. – И мой отец был врачом. Но тогда почему же вы...

Она умолкла, не закончив вопроса.

– Тут нет никакой тайны. Я не покрыл себя позором в самый разгар моей карьеры и на Ривьере не прячусь. Просто не практикую. Хотя, как знать, может быть, когда-нибудь и начну снова.

Розмари молча подставила ему губы для поцелуя. С мгновение он смотрел на нее, как бы ничего не понимая. Потом обвил шею Розмари рукой и потерся щекой о ее мягкую щеку, а потом еще одно долгое мгновение молча смотрел на нее. И наконец сумрачно сказал:

– Такой прелестный ребенок.

Она улыбнулась, глядя снизу вверх в его лицо, пальцы ее неторопливо теребили лацканы его плаща.

– Я люблю и вас, и Николь. В сущности, это моя тайна, я даже рассказать о вас никому не могу, потому что не хочу, чтобы еще кто-то знал, какое вы чудо. Честное слово: я люблю вас обоих – правда.

*...Он столько раз слышал эту фразу – даже слова были те же.*

Неожиданно она потянулась к нему, и пока его глаза фокусировались на лице Розмари, юность ее словно исчезла, она просто лишилась возраста, и Дик, перестав дышать, поцеловал ее. Когда поцелуй завершился, Розмари откинулась назад, на его руку и вздохнула.

– Я решила отказаться от вас, – сообщила она.

Дик удивился – уж не произнес ли он некие слова, подразумевавшие, что какая-то часть его принадлежит ей?

– Но это непорядочно, – ему не без труда, но удалось подделать шутливый тон, – я только только начал проникаться к вам серьезным интересом.

– Я так любила вас... – Можно подумать, с тех пор годы прошли. Теперь из глаз ее капали редкие слезы. – Я вас та-а-ак любила.

Тут ему следовало бы рассмеяться, однако он услышал, как голос его произносит:

– Вы не только прекрасны, в вас есть подлинный размах. Все, что вы делаете – притворяетесь влюбленной, притворяетесь скромницей, – получается очень убедительным.

В темной утробе такси Розмари, пахнувшая купленными при содействии Николь духами, снова придвинулась, приникла к нему. И он поцеловал ее, но никакого наслаждения не испытал. Он знал, что ею правит страсть, однако и тени таковой ни в глазах Розмари, ни в губах не обнаружил; лишь ощутил в ее дыхании легкий привкус шампанского. Она прижалась к нему еще крепче, еще безрассудней, и он поцеловал ее снова, и невинность ответного поцелуя Розмари остудила его, как и взгляд, который она, когда их губы слились, бросила в темноту ночи, в темноту внешнего мира. Розмари еще не знала, что сосуд всего роскошества любви – это душа человека, и только в тот миг, когда она поймет это и истает в страсти, которой пронизана вселенная, Дик и сможет взять ее без сомнений и сожалений.

Отельный номер Розмари находился наискосок от номера Дайверов, немного ближе к лифту. Когда они подошли к его двери, Розмари вдруг заговорила:

– Я знаю, вы не любите меня, да и не жду от вас любви. Но вы сказали, что мне следовало известить вас о дне моего рождения. Ну вот, я известила и теперь хочу получить подарок – зайдите на минутку ко мне, и я вам кое-что скажу. Всего на одну минуту.

Они вошли, он закрыл дверь, Розмари стояла с ним рядом, не касаясь его. Ночь согнала с ее лица все краски, и сейчас она была бледнее бледного: выброшенная после бала белая гвоздика.

– Всякий раз, как вы улыбаетесь, – возможно, это безмолвная близость Николь помогла ему вернуться к отеческой манере, – мне кажется, что я увижу между вашими зубами дырку, оставшуюся от выпавшего, молочного.

Впрочем, с возвращением этим он запоздал, Розмари снова прижалась к нему, отчаянно прошептав:

– Возьми меня.

Он изумленно замер:

– Куда?

– Ну же, – шептала она. – Ох, пожалуйста, сделай все, как положено. Если мне не понравится, а так, скорее всего, и будет, пусть, я всегда думала об этом с отвращением, а теперь – нет. Я хочу тебя.

Собственно говоря, она и сама дивилась себе, поскольку даже вообразить не могла, что когда-нибудь произнесет такие слова. Она призвала на помощь все, что читала, видела, о чем мечтала за десять лет учебы в монастырской школе. И вдруг поняла, что играет одну из величайших своих ролей, и постаралась вложить в нее как можно больше страстности.

– Все происходит не так, как следует, – неуверенно произнес Дик. – Может быть, причина в шампанском? Давайте забудем об этом более или менее.

– О нет, *сейчас*. Я хочу, чтобы ты сделал это сейчас, взял меня, показал мне, я вся твоя и хочу этого.

– Ну, во-первых, подумали вы о том, как сильно это ранит Николь?

– А ей и знать ничего не нужно, ее это не касается.

Он мягко продолжил:

– Есть и еще одно обстоятельство – я люблю Николь.

– Но ты же можешь любить и кого-то другого, можешь? Вот я – люблю маму и люблю тебя... сильнее. Тебя я люблю сильнее.

– ...и в-четвертых, вы вовсе не любите меня, но можете полюбить потом, и это будет означать, что жизнь ваша начинается с ужасной путаницы.

– Нет, обещаю, я никогда больше не увижу тебя. Заберу маму, и мы сразу уедем в Америку.

А вот это Дика не устраивало. Слишком живо помнил он свежесть ее юных губ. И потому сменил тон.

– Это у вас просто минутное настроение.

– Ой, ну пожалуйста, даже если будет ребенок – пусть. Съезжу в Мексику, как одна девушка со студии. Это совсем не то, что раньше, раньше я ненавидела настоящие поцелуи. – Дик понял: она еще не отказалась от мысли, что это должно случиться. – У некоторых такие большие зубы, а ты другой, ты прекрасный. Я хочу, чтобы ты сделал это.

– По-моему, вы просто думаете, что есть люди, которые целуются не так, как другие, вот вам и хочется, чтобы я целовал вас.

– Ох, перестань посмеиваться надо мной – я не ребенок. Знаю, ты не любишь меня, – она вдруг сникла, притихла. – Но я и не ждала столь многого. Я понимаю, что должна казаться тебе пустышкой.

– Глупости. А вот слишком юной вы мне кажетесь. – Мысленно он прибавил: «...вас еще столькому придется учить».

Розмари, прерывисто дыша, ждала продолжения, и наконец Дик сказал:

– И в конце концов, обстоятельства сложились так, что получить желаемое вам все равно не удастся.

Лицо ее словно вытянулось от смутения и расстройства, и Дик машинально начал:

– Нам нужно просто... – но не закончил и проводил ее до кровати, и посидел рядом с ней, плакавшей. Его вдруг одолело смущение – не по причине этической неуместности происходившего, ибо произойти ничего и не могло, это было ясно, с какой стороны ни взгляни, – а самое обычное смущение, и ненадолго привычная грация, непробиваемая уравновешенность покинули Дика.

– Я знала, что ты мне откажешь, – всхлипывала Розмари. – Это была пустая надежда.

Дик встал.

– Спокойной ночи, дитя. Жаль, что все так получилось. Давайте вычеркнем эту сцену из памяти. – И он отбарабанил две пустых, якобы целительных фразы, предположительно способных погрузить Розмари в безмятежный сон: – Столь многие еще будут любить вас, а с первой любовью лучше встречаться целой и невредимой, особенно в плане эмоциональном. Старомодная идея, не правда ли?

Она подняла на него взгляд. Дик шагнул к двери; наблюдая за ним, Розмари понимала: у нее нет ни малейшего представления о том, что творится в его голове, – вот он сделал, словно в замедленной съемке, второй шаг, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее, и ей захотелось наброситься на него и пожрать, целиком – рот, уши, воротник пиджака, захотелось окутать его собою, как облаком, и проглотить; но тут ладонь Дика легла на дверной шишак. И Розмари сдалась и откинулась на кровать. Когда дверь закрылась, она встала, подошла к зеркалу и начала, легко пошмыгивая носом, расчесывать волосы. Сто пятьдесят проходов щетки, как обычно, потом еще сто пятьдесят. Розмари расчесывала их и расчесывала, а когда рука затекла, переложила щетку в другую и стала расчесывать дальше...

## XVI

Проснувшись она поостывшей, пристыженной. Красавица, увиденная Розмари в зеркале, несколько ее не утешила, но лишь пробудила вчерашнюю боль, а письмо от возившего ее прошлой осенью на йельский бал молодого человека, пересланное матерью и сообщавшее, что сейчас он в Париже, ничем не помогло – все казалось ей таким далеким, ненужным. Выходя из своего номера на мучительное испытание, которым грозила стать встреча с Дайверами, она чувствовала, что ее словно пригибает к земле двойное бремя бед. Впрочем, все это было спрятано под оболочкой, такой же непроницаемой, как та, под которой укрылась Николь, когда они встретились, чтобы съездить на примерки и пройтись по магазинам. Правда, слова, сказанные Николь по поводу робевшей продавщицы, послужили Розмари утешением: «Очень многие уверены, что люди питают к ним чувства куда более сильные, чем оно есть на деле, – полагают, что отношение к ним если и меняется, то лишь промахивая из конца в конец огромную дугу, которая соединяет приязнь с неприязнью». Вчерашняя не знавшая удержу Розмари с негодованием отвергла бы это замечание, сегодняшняя, желавшая по возможности умалить случившееся, приняла его всей душой. Она преклонялась перед красотой и умом Николь, но также изнывала – впервые в жизни – от ревности к ней. Перед самым ее отъездом из отеля Госса мать заметила, словно бы между делом (однако Розмари знала: именно этим тоном она и высказывает самые значительные свои суждения), что Николь поразительно красива, из чего с непреложностью следовало, что о Розмари такого не скажешь. Розмари, лишь недавно получившую право считать, что она вообще что-то собой представляет, это не так уж и волновало, собственная миловидность всегда казалась ей не исконной ее принадлежностью, а приобретенной, примерно как владение французским. Тем не менее в такси она приглядывалась к Николь, сравнивая ее с собой. В этом восхитительном теле, в губах, то плотно сжатых, то ожидающе приоткрытых навстречу миру, присутствовало все, что требуется для романтической любви. Николь была красавицей в юности и будет красавицей, когда кожа еще туже обтянет ее высокие скулы – немаловажный элемент прелести этой женщины. В юности Николь была белокожей саксонской блондинкой, теперь волосы ее потемнели, отчего она стала еще и прекраснее, чем прежде, когда они смахивали на облако и превосходили ее красотой.

Такси шло по рю де Сен-Пер.

– Вот здесь мы жили когда-то, – сообщила, указав на один из домов, Розмари.

– Как странно. Когда мне было двенадцать, мы с мамой и Бэйби провели одну зиму вон там, – и Николь ткнула пальцем в отель на другой стороне улицы, прямо напротив дома Розмари. Два закопченных фронтона взирали на них – серые призраки отрочества.

– Мы тогда только-только достроили наш дом в Лейк-Форесте и потому сэкономили, – продолжала Николь. – По крайней мере, сэкономили я, Бэйби и наша гувернантка, мама же просто путешествовала.

– И мы тоже сэкономили, – отозвалась Розмари, понимая, впрочем, что слово это имеет для них разное значение.

– Мама вечно осторожничала, называя его «маленьким отелем»... – Николь издала короткий, обворожительный смешок, – ...вместо «дешевого». Если кто-то из ее чванливых знакомых интересовался нашим адресом, мы никогда не говорили: «Это такая захудалая нора в кишасем апашами квартале, спасибо и на том, что там вода из крана течет...» – нет, мы говорили: «Это такой маленький отель...» Притворяясь, что большие кажутся нам слишком шумными и вульгарными. Знакомые, естественно, сразу же нас раскусывали и рассказывали об этом всем и каждому, но мама говорила, что наш выбор жилья показывает, как хорошо мы знаем Европу. Она-то, конечно, знала – мама родилась в Германии. Другое дело, что *ее*

матушка была американкой и вырастила дочь в Чикаго, отчего и мама стала скорее американкой, чем европейкой.

Через две минуты они встретились с остальной их компанией, и Розмари, вылезавшей из такси на рю Гинемер, напротив Люксембургского сада, пришлось снова собирать себя по частям. Они позавтракали в уже словно разгромленной квартире Нортон, глядевшей с высоты на простор зеленой листвы. Этот день, казалось Розмари, совсем не похож на вчерашний... Когда она оказалась с Диком лицом к лицу, взгляды их встретились – как будто две птицы коснулись друг друга крылами. И все выправилось, все стало чудесным, Розмари поняла, что он понемногу влюбляется в нее. Счастье забурило в ней – словно некий насос принялся накачивать в ее тело живительный поток эмоций. Спокойная, ясная уверенность вселилась в Розмари и запела. Она почти не смотрела на Дика, но знала: все хорошо.

После завтрака Дайверы, Нортон и она отправились на киностудию «Франко-американские фильмы», где их ожидал Коллис Клэй, ее молодой нью-хейвенский знакомый, которому она успела позвонить. Уроженец Джорджии, он придерживался до странного прямолинейных, даже трафаретных взглядов, которые исповедуют южане, получающие образование на севере страны. Прошлой зимой Розмари сочла его симпатичным, – они даже подержались за руки в автомобиле, который вез их из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, – ныне Коллис показался ей пустым местом.

В просмотровой она сидела между ним и Диком, и пока механик устанавливал в проекционный аппарат бобину с «Папенькиной дочкой», администратор-француз суеился вокруг Розмари, старательно подделывая американский сленг.

– Да, люди, – сказал он, когда выяснилось, что в аппарате что-то заело, – опять у нас бананов нет.

Но тут погас свет, послышался щелчок, стрекот, и, наконец, она осталась наедине с Диком. В полутьме они обменялись взглядами.

– Розмари, милая, – прошептал он. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно поерывала на другом конце ряда, Эйб судорожно закашлялся, высморкался; потом все успокоилось, и картина началась.

Вот она – вчерашняя школьница – рассыпавшиеся по спине волосы неподвижны, как у керамической статуэтки из Танагры; и вот она – *ах, какая* юная и невинная – продукт любовных забот ее матери; и вот она – живое воплощение всей недоразвитости ее страны, вырезающей из картона очередную куколку, чтобы потешить свое пустое, достойное шлюхи воображение. Розмари вспомнила, как чувствовала себя в этом платье, – особенно свежей и новенькой, под свежим юным шелком.

Папенькина дочка. Такая лапуленька, такая храбруленька – и страдает? Ооо-ооо, сладенькая-распресладенькая, но не слишком ли сладенькая? От ее крохотного кулачка бегут без оглядки стихии похоти и порока; да что там, сам рок приостанавливает шествие свое; неминуемое становится минуемым; силлогизмы, диалектика и рационализм в полном составе – все отлетает от нее, как от стенки горох. Женщины забывают о ждущей их дома грязной посуде и плачут, даже в самом фильме одна плакала так много, что едва не вытеснила из него Розмари. Плакала по всей стоившей бешеных денег декорации, и в обставленной мебелью Данкена Файфа<sup>18</sup> столовой, и в аэропорту, и на яхтовых гонках, которые и мелькнули-то на экране всего два раза, и в метро, и, наконец, в ванной комнате. Но Розмари взяла над ней верх. Мир покушался на тонкость ее натуры, на ее отвагу и стойкость, и Розмари показала, чего может стоить борьба с ним, и лицо ее, еще не обратившееся в подобие маски, было и вправду столь трогательным, что в промежутках между бобинами к ней устремлялись чувства всех, кто сидел

<sup>18</sup> Данкен Файф (1768–1854) – американский мебельный мастер.

в зале. Во время одного такого перерыва включили свет, и после всплеска аплодисментов Дик совершенно искренне сказал ей:

– Я попросту изумлен. Вы наверняка станете одной из лучших наших актрис.

Затем «Папенькина дочка» пошла снова: настали времена более счастливые, Розмари воссоединилась с папенькой в последней очаровательной сцене, из которой попер столь очевидный отцовский комплекс, что Дик содрогнулся от жалости ко всем психиатрам, которым доведется увидеть эту жуткую сентиментальщину. Экран погас, зажегся свет, наступила долгожданная минута.

– Я договорилась еще кое о чем, – объявила всей компании Розмари, – о пробе для Дика.

– О чем?

– О кинопробе, их как раз сейчас снимают.

Наступило ужасное молчание, затем послышался сдавленный смех не сумевших сдержаться Нортв. Розмари смотрела на Дика, до которого не сразу дошел смысл ее слов, – в первые мгновения лицо его подергивалось, совершенно как у озадаченного ирландца; и она поняла, что ошиблась, пойдя со своей козырной карты, хоть и не заподозрила еще, что карта наверняка будет бита.

– Мне не нужна никакая проба, – твердо заявил Дик, а затем, окончательно уяснив ситуацию, весело продолжил: – Я не смогу оправдать ваши надежды, Розмари. Киношная карьера хороша для женщины, но, боже ты мой, меня-то чего ради снимать? Я – пожилой ученый, с головой потонувший в семейной жизни.

Николь и Мэри стали наперебой уговаривать его – иронически – не упускать такую прекрасную возможность; они вышучивали Дика, немного обиженные на то, что им попозировать перед камерой не предложили. Однако Дик закрыл эту тему саркастическим выпадом в адрес актеров.

– Строже всего охраняются врата, за которыми ничего нет, – сказал он. – И может быть, потому, что люди стыдятся выставлять напоказ свою пустоту.

Сидя в такси с Диком и Коллисом Клэем, – они решили подвезти его, а потом Дик собирався заехать с Розмари в один дом на чаепитие (Николь и Нортв принять в нем участие отказались, потому что им требовалось покончить с каким-то делом, которое Эйб откладывал до последнего), – Розмари укорила Дика:

– Я думала, если проба удастся, взять ее с собой в Калифорнию. И может быть, если бы она там понравилась, вы приехали бы туда и сыграли в моей картине главную роль.

Сказанное ею совсем доконало Дика.

– Все это, конечно, мило, но я предпочел бы просто увидеть *вас* на экране. Вы – едва ли не лучшее, что я на нем видел.

– Великая картина, – сказал Коллис. – Четыре раза ее смотрел. И знаю в Нью-Хейвене паренька, который смотрел двенадцать раз – как-то аж в Хартфорд ради нее поехал. А когда я привез Розмари в Нью-Хейвен, засмутился и не решился к ней подойти. Представляете? От этой девочки у всех ум за разум заходит.

Дик и Розмари обменялись взглядами, им хотелось остаться вдвоем, но Коллис этого не понимал.

– Давайте я провожу вас до нужного вам места, – предложил он. – А потом поеду к себе в «Лютетию».

– Лучше уж мы вас туда подвезем, – ответил Дик.

– Да мне так проще будет. И не составит никакого труда.

– Полагаю, все-таки будет лучше, если *мы* подвезем *вас*.

– Но... – начал было Коллис; и тут до него наконец дошло, и он завел с Розмари разговор о том, когда ему удастся снова увидеть ее.

В конце концов он, уязвленный выпавшей ему ролью третьего лишнего, покинул такси, приняв напоследок мину мрачного безразличия. И до обидного скоро такси остановилось у дома, адрес которого назвал водителю Дик. Он тяжело вздохнул:

– Идти – не идти?

– Мне все равно, – сказала Розмари. – Как захотите, так и сделаем.

Дик поразмыслил.

– Я-то, можно сказать, обязан пойти туда, – она хочет купить у моего знакомого несколько картин, а ему позарез нужны деньги.

Розмари пригладила волосы, пришедшие за несколько последних минут в слишком уж недвусмысленный беспорядок.

– Ладно, зайдем минут на пять, – решил Дик. – Боюсь только, эти люди вам не понравятся.

Наверное, они скучные и заурядные, предположила Розмари, или вульгарные и вечно пьяные, или нудные и назойливые – в общем, такие, каких Дайверы стараются избегать. Она была решительно не готова к тому, что ей предстояло увидеть.

## XVII

Дом на рю Месье был перестроенным когда-то дворцом кардинала де Реца, однако во внутреннем его убранстве не осталось никаких следов прошлого – да и настоящего, каким его знала Розмари, тоже. Сложенная из камня оболочка дома содержала, скорее, будущее, и оттого человек, переступавший порог, если его можно было назвать так, и попадавший в длинный вестибюль, сооруженный из вороненой стали, позолоченного серебра и несметного числа обрезанных под какими угодно углами зеркал, ощущал что-то вроде удара электрическим током, резкую встряску нервов, противоестественную, как завтрак, состоящий из овсянки и гашиша. Ощущение это не походило на те, что получаешь в залах Выставки декоративного искусства, – здесь ты оказывался не перед экспонатом, а *внутри* его. Розмари овладело отчужденное, псевдоэкзальтированное чувство выхода на сцену, и она мигом поняла, что его испытывает каждый, кто здесь находится.

А находилось здесь человек тридцать, преимущественно женщин, словно изготовленных по образцам, сработанным Луизой М. Олкотт или мадам де Сегюр<sup>19</sup>; и все они передвигались в этой декорации с такой осторожностью и аккуратностью, с какими наши пальцы собирают с пола зазубренные осколки разбитого бокала. Ни о ком из этих людей в частности, ни обо всей их толпе нельзя было сказать, что они чувствуют себя в этом доме господами – подобно тому, как владелец произведения искусства может ощущать себя его полноправным господином, сколь бы загадочным и непонятным оно ни было; ни один из них не понимал назначения этой комнаты, поскольку, раскрываясь перед ними, она превращалась во что-то совсем другое; существовать в ней было так же трудно, как идти по отполированному до блеска эскалатору, для этого требовались качества, присущие уже упомянутым пальцам, – качества, которые и определяли, и сковывали движения большинства тех, кто сюда попадал.

Люди эти разделялись на две разновидности. К первой относились американцы и англичане, которые провели всю весну и лето в загуле, и теперь их поведением правили порывы, имевшие происхождение чисто нервическое. В определенные часы дня они были очень тихи и как будто спали на ходу, а затем вдруг словно с цепи срывались, учиняя ссоры, скандалы и соращения. Вторую, назовем ее эксплуататорской, составляли своего рода приживалы; это были люди сравнительно трезвые и серьезные, имевшие жизненную цель и не желавшие тратить время на всякого рода баловство. Им удавалось худо-бедно сохранять в этой обстановке уравновешенность, если здесь и наличествовал какой-либо «стиль» (помимо новизны в устройстве освещения), то задавали его они.

Этот Франкенштейн единым махом проглотил Дика и Розмари, сразу же разлучив их, и Розмари обнаружила вдруг, что обратилась в лицемерную маленькую особу, говорящую писклявым голосом и нетерпеливо ждущую, когда придет режиссер-постановщик. Впрочем, все вокруг до того походило на птичий базар, что положение Розмари не казалось ей более несообразным, чем чье-либо еще. Ну и полученная ею выучка тоже давала о себе знать, и после череды полувоенных поворотов, перегруппировок и марш-бросков она обнаружила, что предположительно беседует с опрятной, гладенькой девушкой, обладательницей милого мальчишечьего личика, хотя на самом деле внимание ее было приковано к разговору, который велся в четырех футах от нее, рядом с подобием стремянки, отлитым из пушечной бронзы.

Там сидела на скамеечке троика молодых женщин. Все высокие, худощавые, с маленькими головками, причесанными как у манекенов, – во время разговора эти головки грациозно

<sup>19</sup> Луиза Мэй Олкотт (1832–1888) – американская писательница, автор романа «Маленькие женщины»; графиня Софья де Сегюр, урожденная Ростопчина (1799–1874) – французская детская писательница.

покачивались над темными английскими костюмами, напоминая то цветы на длинных стеблях, то головы кобр.

– О, представления они устраивают прекрасные, – сказала одна низким грудным голосом. – Практически лучшие в Париже, и я – последняя, кто стал бы с этим спорить. Но в конечном счете... – она вздохнула. – Эти фразочки, которые он повторяет и повторяет... «старейший обитатель, заеденный грызунами». Смешно только в первый раз.

– Я предпочитаю людей, у которых поверхность жизни не так гладка на вид, – сказала вторая. – А *она* мне и вовсе не по душе.

– На меня они никогда большого впечатления не производили, и свита их тоже. Зачем, например, нужен окончательно перешедший в жидкообразное состояние мистер Норт?

– Об этом и говорить нечего, – сказала первая. – И все же, признай, *он* – самый обаятельный из всех известных тебе людей.

Тут только Розмари сообразила, что разговор идет о Дайверах, и все ее тело свела судорога негодования. А стоявшая перед ней девушка, словно сошедшая с плаката – накрахмаленная голубая рубашка, яркие голубые глаза, румяные щечки и очень, очень серый костюм, – продолжала говорить что-то и уже приступила к попыткам подольститься к Розмари. Девушка упорно отгоняла прочь все, что могло встать между ними, поскольку боялась, что Розмари не разглядит ее, отгоняла, пока между ними не осталась лишь завеса робкой шутливости, и тогда Розмари ясно разглядела девушку и никакого удовольствия не испытала.

– Может быть, мы позавтракаем, или пообедаем, или нет, позавтракаем – через день-другой? – упрасивала девушка. Розмари поискала глазами Дика и нашла рядом с хозяйкой – разговор с ней он завел, едва придя сюда. Взгляды их встретились, Дик легко кивнул, и в этот же миг три кобры заметили Розмари; их длинные шеи мгновенно вытянулись к ней, все трое нацелили на нее откровенно придиричivé взгляды. Розмари ответила им взглядом вызывающим, давая понять, что слышала их разговор. Затем она избавилась от своей назойливой визави, попрощавшись с ней вежливо, но отрывисто – в манере, которую только-только переняла у Дика, – и направилась к нему. Хозяйка – еще одна рослая, состоятельная американка, беззаботно выгуливавшая всем напоказ, как собачку, богатство своей страны, – осыпала Дика бесчисленными вопросами насчет отеля Госса, в который, по-видимому, хотела заглянуть, однако пробить броню его нежелания отвечать на них так и не смогла. Появление Розмари напомнило ей о забытой ею роли распорядительницы, и она, оглядываясь по сторонам, спросила: «Вы знакомы с очень, очень забавным мистером...» Взгляд ее обшаривал толпу в поисках человека, который мог бы заинтересовать Розмари, однако Дик сказал, что им пора. И они сразу же вышли, переступив через невысокий порог, в неожиданное прошлое, лежавшее за каменным фасадом будущего.

– Что, ужасно? – спросил Дик.

– Ужасно, – послушно согласилась она.

– Розмари?

– Да? – благоговейно мурлыкнула она.

– Мне страшно жаль.

Розмари вдруг затрясло от звучных, мучительных рыданий. «Есть у тебя носовой платок?» – спросила она, запинаясь. Однако времени на проливание слез не осталось, и они, теперь уже любовники, жадно набросились на оставшиеся у них быстрые секунды, а между тем за окнами такси выцветали зеленые и кремовые сумерки и сквозь тихую пелену дождя начали проступать, словно в дыму, огненно-красные, газово-голубые, призрачно-зеленые рекламные надписи. Было почти шесть часов, улицы наполнялись людьми, поблескивали быстро, и, когда машина повернула на север, мимо них проплыла во всем ее розоватом величии площадь Согласия.

Наконец они взглянули друг дружке в глаза, и каждый пролепетал, как заклинание, имя другого. Два приглушенных имени повисели в воздухе и стихли медленнее, чем другие слова, другие имена, чем звучащая в сознании музыка.

– Не знаю, что на меня нашло этой ночью, – сказала Розмари. – Бокал шампанского? Никогда себя так не вела.

– Ты просто сказала, что любишь меня.

– Я люблю тебя – этого не изменишь.

Вот теперь можно было поплакать – и она поплакала немножко в носовой платок.

– Боюсь, что и я люблю тебя, – сказал Дик, – а это не лучшее из того, что могло с нами случиться.

И снова прозвучали два имени, и любовников бросило друг к дружке, как будто само такси качнуло их. Грудь Розмари расплющилась, так крепко она прижалась к нему, губы ее, незнакомые, теплые, стали общим их достоянием. Они перестали думать, испытав почти болезненное облегчение, перестали видеть; они только дышали и искали друг дружку. Оба пребывали в ласковом сером мире мягкого похмелья усталости, где нервы стихают пучками, точно рояльные струны, а иногда вдруг потрескивают, как плетеные стулья. Нервы столь обнаженные, нежные, конечно же должны соединяться с другими, уста к устам, грудь к груди...

Они еще оставались в самой счастливой поре любви. Прекрасные иллюзии касательно друг дружки наполняли их, огромные иллюзии, обоим казалось, что взаимное причащение их происходит там, где никакие другие человеческие отношения значения не имеют. Оба полагали, что пришли туда невероятно невинными, и привела их чередой совершенно случайных событий, столь многочисленных, что в конце концов оба вынуждены были признать: мы созданы друг для друга. И пришли они с чистыми руками – или так им представлялось, – проскочив под знак «движение запрещено» из простой любознательности и любви к тайнам.

Однако Дик прошел этот путь быстрее; они еще не достигли отеля, как он переменился.

– Сделать мы уже ничего не можем, – сказал он, чувствуя, как в душу его закрадывается страх. – Я люблю тебя, но это не отменяет сказанного мной прошлой ночью.

– Сейчас это не имеет значения. Я просто хотела, чтобы ты полюбил меня, – и если ты любишь, все хорошо.

– К несчастью, люблю. Однако Николь не должна узнать об этом – даже заподозрить ничего не должна. Нам с ней придется и дальше жить вместе. В определенном смысле это важнее, чем само желание совместной жизни.

– Поцелуй меня еще раз.

Он поцеловал, но сразу выпустил ее из рук.

– Николь не должна страдать, она любит меня, и я люблю ее, ты же понимаешь.

Она понимала – таково было одно из правил, которые она понимала очень хорошо: нельзя причинять людям боль. Розмари знала, что Дайверы любят друг друга, для нее это было исходным предположением. Но полагала, что отношения их довольно прохладны, похожи скорее на любовь, что связывала ее с матерью. Когда люди уделяют столько внимания посторонним – не указывает ли это на отсутствие сильных чувств между ними?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.